

Дэвид  
Ремник

# МОГИЛА ЛЕНИНА

Последние дни  
советской империи

CoRpus



ЛАУРЕАТ ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ

Дэвид Ремник

**Могила Ленина. Последние  
дни советской империи**

«Corpus (ACT)»

1994

УДК 821.111-94(73)  
ББК 84(7Сое)-4

**Ремник Д.**

Могила Ленина. Последние дни советской империи /  
Д. Ремник — «Corpus (АСТ)», 1994

ISBN 978-5-17-097473-3

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, – пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). – Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий – консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.

УДК 821.111-94(73)  
ББК 84(7Сое)-4

ISBN 978-5-17-097473-3

© Ремник Д., 1994  
© Corpus (АСТ), 1994

# Содержание

Предисловие к новому изданию	6
Вступление	10
Часть I	13
Глава 1	13
Глава 2	18
Глава 3	28
Глава 4	37
Глава 5	48
Глава 6	61
Глава 7	73
Глава 8	84
Глава 9	98
Конец ознакомительного фрагмента.	107

# Дэвид Ремник

## Могила Ленина. Последние дни советской империи

*Моим родителям и Эстер*

© David Remnick, 1993, 1994

© Л. Оборин, перевод на русский язык, 2017

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017

© ООО «Издательство Аст», 2017

Издательство CORPUS ®

\* \* \*

## Предисловие к новому изданию Иллюзия конца

Журналист может хотеть сделаться писателем и написать роман далеко не из одних только соображений литературной славы и престижа. Автора нон-фикшен ограничивают упрямая бесформенность реальности, скучная хронология жизни “как она есть”. Романист имеет право выходить за рамки факта и пускаться в путешествие по таким темным, труднодоступным областям, как человеческие тайны, мотивации, порывы и страсти. Романист может позволить себе то, чего, кажется, не любит делать сам Бог: придать действительности форму, которая приносит самое сомнительное удовольствие, – создать повествование с началом, серединой и концом.

Хороший репортер никогда не поддается искушению: ему хватает ума понять, что история разворачивается не ради того, чтобы он написал удачный репортаж. Но любой журналист, который работал в Москве в годы правления Михаила Горбачева, не мог не поражаться тому, насколько сложные и разнообразные процессы ему приходится наблюдать. Что-то важное происходило на всех уровнях политической, экономической, интеллектуальной и общественной жизни, и события были чрезвычайно интенсивны и стремительны, не говоря уж о том, что они происходили на невообразимо громадной территории. Так что никто из нас не претендовал на роль адекватного свидетеля эпохи, способного правильно ее описать, тем более для завтрашней газеты. (Газеты, представьте себе, в те времена жили в 24-часовом ритме – и при этом выходили на бумаге.)

Но одним из иллюзорных преимуществ у московских репортеров того времени было чувство причастности к драматической развязке истории колоссального, мирового уровня. В августе 1991 года мы с моей женой Эстер Файн должны были после четырех лет жизни в Москве улететь домой. Она работала в *The New York Times*, я – в *The Washington Post*. Драма перестройки, курса реформ, начатых Горбачевым в марте 1985 года, достигла тогда максимального, предельного накала: страны Восточной и Центральной Европы, освободившись от кремлевской власти, входили в младенческую пору своей государственности, советские республики требовали большей независимости, а идеология и политика Коммунистической партии Советского Союза катились под откос. Но чем все это закончится, было неясно. Если этому и наступит конец, думали мы, то мы его уже не застанем. Наше время в СССР истекло. Американские корреспонденты, работающие за рубежом, редко задерживаются на одном месте дольше четырех лет. Поэтому мы попрощались с друзьями, собрали чемоданы, убрались в квартире и, наконец опубликовав интервью с доверенным лицом Горбачева Александром Яковлевым (который сообщил мне, что ожидает, что КПСС и КГБ попытаются совершить государственный переворот), вылетели рейсом авиакомпании *Pan Am* из Шереметьева в Нью-Йорк. Это было 18 августа 1991 года.

В первых строках “Десяти дней, которые потрясли мир” Джон Рид называет свой рассказ о петроградских событиях 1917 года “сгустком истории”. События, приведшие к драме 1991 года, пожалуй, были не менее насыщенными. В любом случае я собирался написать книгу о своем советском опыте, даже если в этой истории еще не было своего штурма Зимнего дворца. Но разве можно было всерьез ждать, что такое случится?

Как оказалось, нужно было подождать всего несколько часов. Приехав в дом родителей Эстер под Нью-Йорком и включив *CNN*, мы вместе со всем остальным миром увидели, как по Кутузовскому проспекту, прямо мимо дома, где мы жили, идут танки. Начался переворот, который предсказывал Александр Яковлев. Чем бы он ни закончился, это было то самое финальное событие. Несмотря на то что у Восточного побережья США разразился ураган

и было непонятно, удастся ли мне сразу вылететь в Россию, я уже на следующий день вернулся в Москву. 21 августа путч провалился. Горбачев, которого удерживали под арестом на крымской даче, вернулся с семьей в Москву, где его ждал холодный прием от его спасителя и политического противника Бориса Ельцина. Горбачев думал, что вернулся к власти, но на самом деле он стал свидетелем радикального изменения привычного ему мира.

Я оставался в Москве до конца года. Советский Союз к тому времени перестал существовать – растворился, как кубики сахара в горячем чае. Вернувшись в Нью-Йорк, я дописал “Могила Ленина” – мои записи того периода легли в основу развернутой последней части книги.

Длинный раздел об августовском путче – “Первый раз как трагедия, а второй – как фарс” – не получился бы без подробностей о крымском заточении Горбачева; о лихорадочном бормотании в кабинетах Лубянки и несостоявшихся диктаторах, которые напивались до бесчувствия; о заговорщиках, которые сводили счеты с жизнью всеми мыслимыми способами. Предложить такой финал не отважился бы ни один сценарист, но именно так все и случилось – как раз в конце моего четырехлетнего репортерского срока. Кроме того, финал оказался на удивление счастливым: сравнительно мирное завершение невероятно трагического отрезка истории, ночной спуск над Кремлем красного флага и подъем нового – бело-лазорево-алого. Конец коммунизма. Конец империи. Конец истории. Могли ли в России после тысячи лет феодализма, царского самодержавия, тоталитарного коммунизма утвердиться либеральная демократия, процветание, истина и справедливость?

Вскоре я – в шутку – сказал своим старым коллегам из московского бюро *Post*, что “история завершилась”. В этой шутке отзывалось глубокое заблуждение, особенно распространенное в Вашингтоне: Россия и четырнадцать остальных бывших советских республик вступят в период эволюционного политического и экономического развития, которое не потребует нашего внимания, и Соединенные Штаты, свободные от конкуренции и обязательств холодной войны, утвердятся в роли единственной мировой сверхдержавы. Это была вера в превосходство малой истории над большой, иллюзия, которую развеяли многочисленные события, показавшие, что упадок и крах Советского Союза будут длиться еще много лет после его официального распада. Многие из этих событий оказались куда драматичнее, чем все, что нам было известно по горбачевскому времени: кровавый “октябрьский переворот” 1993 года; чеченские войны; становление олигархического, во многом преступного, капитализма; деградация едва появившейся на свет свободной прессы и сужение гражданских свобод; экономический крах 1998 года; одряхление Бориса Ельцина и выход на сцену Владимира Путина. С приходом Путина появилось отчетливое ощущение, что либеральная демократия в России – куда более отдаленная перспектива, чем казалось всем, кто принимал участие в событиях 1991 года.

\* \* \*

Путин был президентом с 2000 по 2008 год. Затем, по крайней мере формально, он подчинился требованиям российской Конституции и уступил президентское кресло своему протеже Дмитрию Медведеву. На выборах, которые лишь с большой натяжкой можно было назвать демократическими, Медведев победил и первым же своим указом назначил Путина премьер-министром. Все это никого не обмануло: было ясно, что эпоха Путина продолжится. А затем, разгневанный выступлениями образованных горожан, которые требовали куда больше свобод, чем Путин был готов им предоставить, он снова стал президентом – на этот раз куда более авторитарным, настроенным националистически и антизападно.

Популярность Путина, который воплотил в себе русский традиционализм и сильную государственную власть, – отчасти результат глубокого разочарования большинства граждан

в эпоху Ельцина. В 2008 году я посмотрел в Москве комедийный боевик Алексея Балабанова “Жмурки” – макабрическую карикатуру на Россию 1990-х в общественном представлении: Россию хаоса, коррупции и жестокости. Фильм начинается со следующей сцены: в 2005 году преподавательница читает студентам лекцию по экономике и объясняет, как после падения коммунизма и распада СССР в 1991 году начался крупнейший в истории человечества “перелом собственности”. Это было время, когда “так называемые олигархи” вступили во владение нефтяными промыслами, золотыми приисками и банками.

– У кого-нибудь есть соображения на этот счет? – спрашивает она.

– Я думаю, что в то время из ничего можно было заработать много денег! – отвечает бойкая студентка.

– И еще, – добавляет преподавательница, – в 90-е годы очень развиты были криминальные группировки, которые срастались с властью и тем самым тоже приобретали начальный капитал.

Далее следует титр “Середина 1990-х” и жестокая сцена, в которой киллер, называющий себя профессионалом, пытается в морге бандита-конкурента. В последних сценах фильма двое кровавых поделщиков крадут у своего босса пять килограммов героина – “начальный капитал” – и сбегают в Москву, где меняют кожаные куртки и пистолеты на строгие костюмы и должности в кремлевской бюрократии.

В современной России не в чести либерализм – мало кто всерьез верит в необходимость гражданского общества, гражданских свобод и открытого общества. Из всех демократических активистов и политиков рубежа 1980-х и 1990-х в народной памяти остался только один – физик и правозащитник Андрей Сахаров. Его именем назван проспект в Москве. Возможно, его вспоминают с уважением потому, что он успел умереть в декабре 1989-го, за два года до крушения советской империи. Либеральные партии 1990-х давным-давно скомпрометированы связями с эпохой Ельцина и сошли с политической сцены. “Государство не позволяет оппозиции существовать, у нас нет коалиции”, – сказал мне бывший премьер-министр Михаил Касьянов, ныне возглавляющий небольшую оппозиционную партию без представительства в Думе.

“Сейчас, как и при Ельцине, в оппозиции разве что коммунисты, – говорил Александр Солженицын в интервью *Der Spiegel* незадолго до смерти (он умер в августе 2008-го). – Однако, говоря «оппозиции почти не осталось», вы, конечно, имеете в виду демократические партии 90-х годов? Но взгляните же непредвзято: если все 90-е годы происходило резкое падение жизненного уровня, затронувшее три четверти российских семей, и всё под «демократическими знаменами», то ничего удивительного, что население отхлынуло из-под этих знамен”. Солженицыну, который жил на окраине Москвы, было 88 лет, здоровье его угасало. Несмотря на то что в большинстве его романов и исторических исследований содержалась развернутая критика советской власти и спецслужб, о Путине, бывшем подполковнике КГБ, он отзывался одобрительно. “Путину досталась по наследству страна, разграбленная и сшибленная с ног, с деморализованным и обнищавшим большинством народа. И он принялся за возможное – заметим, постепенное, медленное, – восстановление ее”, – сказал Солженицын.

У нынешнего рейтинга популярности Путина несколько причин: ошибки его предшественников, подавление инакомыслящих, вскипание “темного” патриотизма, укрепление националистической идеологии, а также такие события, как аннексия Крыма и бомбардировки Сирии, – они нужны для того, чтобы продемонстрировать миру возрождение сверхдержавы, вновь дать стране цель. Несмотря на углубляющийся экономический кризис, Путин и путинизм по-прежнему в силе.

В постсоветской России сохранились две великие традиции: власть тайной полиции и использование иносказаний для говорения правды. Последнее в путинской России – одно из

немногих эффективных способов описания первого. Владимир Сорокин, писатель со склонностью к сюрреалистичной жестокости, создал роман-антиутопию под названием “День опричника”. Опричники были тайной полицией XVI века. В изображенной Сорокиным деспотической России 2028 года в ведении монарха находятся все судьбы, вся информация. Благополучие государства зависит от нефти и газа, а выживание конкретного человека – от безоговорочной верности кровавому деспоту и его опричному кругу. Сама Россия – крайне консервативное, традиционалистское государство.

Это иносказание легко расшифровать. Путин и значительная часть кремлевских начальников, министров и советников – выходцы из КГБ; многие родились и выросли в родном городе Путина – Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Ельцин пытался реформировать спецслужбы, но попытка не удалась. “Структура политической полиции сохранена, и она легко может возродиться”, – говорил Ельцин в 2007 году, незадолго до смерти. В 1990-е олигархи охотно нанимали к себе на службу хорошо обученных и информированных бывших сотрудников КГБ. Но Путин поставил эту иерархию с ног на голову. В Кремле Путина больше силовиков, чем в Белом доме Кеннеди – выпускников Гарварда. Силовики возглавляют многочисленные кремлевские ведомства, бюрократические органы и госкорпорации.

В книге интервью “От первого лица” Путин рассказывал, что в 1980-е, когда он еще служил в ГДР, а коммунизм уже трещал по швам, у него было много свободного времени. Он пил местное пиво (“Я брал такой баллон на три с лишним литра. Пиво в него наливаєшь, потом краник нажимаешь – и пьешь как из бочки”) и поправился примерно на 12 килограммов. Но, став президентом, он сразу вспомнил о своем прежнем работодателе и приумножил его могущество. “Бывших чекистов не бывает”, – заметил он.

Когда Путин вернулся в президентское кресло в 2012 году, во всех его действиях ощущалась острая неприязнь: неприязнь к городскому среднему классу, который он считает угрозой своему режиму; неприязнь к Западу, который ввел против России экономические санкции в ответ на аннексию Крыма и вмешательство в военный конфликт на востоке Украины.

Одна из главных тем “Могила Ленина” – тема истории, та огромная роль, которую переоценка истории сыграла в преображении бывшего СССР и сознания его граждан. Возвращение истории в то время оказало влияние на все: на становление национальных движений в Прибалтике, на Кавказе, Украине и в Средней Азии; на экономику; на интеллектуальную и культурную жизнь; на отношения СССР с другими странами.

Сейчас эта переоценка в каком-то смысле происходит вновь, но в более мрачной атмосфере. Исторические взгляды Путина также задают направление, в котором движется Россия. Его крайне консервативный подход к истории, восхищение такими фигурами, как Столыпин и философы-националисты XIX и XX веков, рождает убеждение, что Россией нужно управлять железной рукой, что ее размер и сама природа не подходят для той демократии, к какой привыкли на Западе. Согласно путинскому пониманию истории, потенциальные противники находятся повсюду и с ними нужно бороться: нельзя допускать угроз для стабильности государства. Он не забыл, как у дверей дрезденской резидентуры КГБ бушевала толпа антисоветски настроенных немцев. Те события, о которых говорится в “Могила Ленина”, – митинги, забастовки, демонстрации на Красной площади, революции в Восточной и Центральной Европе – для Путина подобны страшному сну. Он убежден, что ни в коем случае нельзя допустить повторения событий 1989–1991 годов, о которых идет речь в этой книге. Вот почему современный читатель “Могила Ленина” чувствует одновременно и оптимизм, который владел умами предыдущего поколения, и настороженность, которой сегодня пропитано каждое действие Владимира Путина.

## Вступление

Задолго до того, как появились основания предрекать закат и распад Советского Союза, о предчувствиях этого было упомянуто в записных книжках Надежды Мандельштам. Она не была сентиментальной, не была наивной. Ее мужа, великого поэта Осипа Мандельштама, смела волна Большого террора 1930-х; он не вернулся из лагерей. С безжалостной прямоотой она писала о том, как режим держал своих подданных в постоянном страхе. Советские люди, по ее словам, стали “психически сдвинутыми, чуть-чуть не в норме, не то чтобы больными, но не совсем в порядке”. Тем не менее Надежда Яковлевна, в отличие от многих ученых и политиков, видела признаки врожденной слабости советской системы и верила в человеческую стойкость.

20 августа 1991 года стояла хмурая дождливая погода. Я шел сквозь толпу людей, защищающих здание российского парламента от возможного нападения путчистов. В тот день все мы увидели то, что мало кто мог предугадать: советские граждане – рабочие, учителя, карманники, дети, матери, старики, даже солдаты – выступили против нескольких замшелых политиков, которые возомнили себя улучшенной версией большевиков, способных заморозить время, а то и пустить его вспять. Лихорадочно готовя путч, заговорщики решили, что “массы” слишком изнурены и безразличны, чтобы дать отпор. Но десятки тысяч обычных москвичей были готовы умереть за демократию. Тогда говорилось – и даже сейчас говорится, – что русские ничего или почти ничего не знают о гражданском обществе. Что ж, в таком случае странно, что столько людей были готовы отдать свою жизнь ради его защиты.

Я редко запоминаю наизусть прочитанное, но в тот день, за много часов до того, как стало ясно, что войска не пойдут в атаку и путч провалился, я вспомнил слова, которые обвел черной ручкой в книге воспоминаний Надежды Мандельштам: “Этот ужас может вернуться, если опять отправят в лагеря несколько миллионов граждан, но каждый из этих миллионов будет сейчас выть. Их семьи будут выть. Их друзья и соседи будут выть. И это немало”. Вожди августовского путча не учли, что их граждане ушли далеко вперед. Они ничего не поняли. За свой просчет они заплатились тюрьмой, а опоры прежнего режима рухнули.

Сейчас, когда я пишу эти строки, эйфория тех августовских дней давно развеялась, а российская демократия неустойчива. Иногда кажется, что не изменилось почти ничего, что судьба России вновь зависит от опыта, наклонностей и пульса одного человека. На сей раз это Борис Ельцин, который проявил себя героем в дни путча; человек гибкий, умный, но порой несдержанный на язык и любящий приложиться к бутылке. Никто не знает, что будет, если Ельцин лишится власти – например, если его хватит удар или путч устроят радикальные националисты, неофашисты и ностальгирующие коммунисты, имеющие большинство в парламенте. Сейчас, перед уходом моей книги в печать, в апреле 1993 года, противостояние между Ельциным и парламентом не разрешено<sup>1</sup>; это показывает, как не хватает России внятных и работающих Конституции, правовой и административной систем. Эти институты нового общества пока находятся в зачаточном состоянии и невероятно хрупки.

---

<sup>1</sup> Это противостояние трагически завершилось в конце сентября – начале октября 1993 года, когда Ельцин издал указ о роспуске Верховного совета и Съезда народных депутатов. Депутаты во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым отказались подчиниться. У каждой стороны образовались многочисленные группы поддержки. Противостояние переросло в вооруженный конфликт, в результате которого погибло около двухсот человек (точных данных нет). Дом Советов (ныне Дом Правительства Российской Федерации), в котором находились противники Ельцина, был обстрелян из танков. Структура власти, доставшаяся России в наследство от Советского Союза, была ликвидирована. В ноябре был завершен проект новой Конституции РФ, которая была принята по результатам всенародного голосования 12 декабря 1993 года. – *Здесь и далее, если не указано иное, примечания принадлежат переводчику.*

В январе 1993-го стало ясно, что ельцинская экономическая программа “шоковой терапии” принесла переменный успех, много боли и повсеместно возбудила тревогу. В отдельных местах продовольственных и иных товаров хватает, но цены вышли из-под контроля. Уровень инфляции напоминает латиноамериканский. Руководители огромных военных заводов не спешат перепрофилироваться, а немислимые дотации, которые они получают, опустошают бюджет. Процвечают наглые дельцы и некоторые честные бизнесмены – новый бойкий класс, но старики, немощные, малоимущие находятся в отчаянном положении. Преступность колоссальна. И то и дело находится очередной демагог – коммунист, националист или просто сумасшедший, – который готов воспользоваться ошибками, недостатками и неудачами избранного правительства. Авторитаризм по-прежнему остается опасным соблазном. И пока что все потенциальные преемники Ельцина обещают отойти от радикальных экономических реформ и, скорее всего, будут проводить агрессивную антизападную внешнюю политику.

В прочих странах бывшего СССР ситуация вызывает неменьшее беспокойство. На Кавказе вспыхивают яростные локальные войны, в Центральной Азии происходят перевороты. Молдавия, Латвия, Эстония и Литва обвиняют Россию в империалистических наклонностях, поскольку она не выводит свои войска<sup>2</sup>. Русские, в свою очередь, указывают на то, что главы балтийских государств относятся к неприбалтам как к гражданам второго сорта. Армения разорена и едва не в коллапсе. В Грузии идет гражданская война. Невзирая на несколько исторических договоров с Соединенными Штатами, Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан до сих пор не урегулировали вопросы хранения оружия. Вот почему мы не можем спать спокойно: нам снятся кошмары, названные однажды Джеймсом Бейкером “Югославией с атомными бомбами”<sup>3</sup>.

Но, несмотря на все это, я разделяю трезвый оптимизм Надежды Мандельштам. В конце концов, моя книга – хроника последних дней одного из жесточайших режимов в истории человечества. Став свидетелем этих дней, побывав в Москве и республиках последней империи, я убежден, что, какие бы трудности ни ждали Россию, она не вернется в прошлое. Мы на Западе не можем позволить себе отворачиваться от происходящего. Отказывать в помощи – означает подвергать опасности Россию, страны бывшего СССР и мир на всей планете.

Чтобы понять историю Советского Союза и его падение, потребуется еще много книг и воспоминаний. Мы до сих пор спорим о событиях 1917 года. Историкам необходимо время. Когда Чжоу Эньлай спросили, что он думает о Французской революции, тот ответил: “Еще рано о ней говорить”<sup>4</sup>. Для разговора о времени Горбачева понадобится целая библиотека, в которой будут книги на самые разнообразные темы: американо-советские отношения, экономическая история, возмущения в Прибалтике, на Кавказе, на Украине и в Центральной Азии, “предыстория” перестройки, психологические и социологические эффекты многолетнего тоталитарного режима.

Я отправился в Москву в январе 1988 года как репортер *The Washington Post*. Революцию я видел именно с такой, достаточно своеобразной, точки зрения. Подобно многим моим коллегам в Москве, я отправлял в редакцию от трехсот до четырехсот текстов в год, и редакция с радостью приняла бы еще больше. Но и тогда, загруженный срочной работой, я понимал, что у многочисленных событий эпохи Горбачева-Сахарова-Ельцина есть общая

---

<sup>2</sup> Российские войска ушли из Литвы в 1993-м, из Латвии и Эстонии – в 1994 году. На территории Молдавии (в Приднестровье) российский миротворческий контингент остается до сих пор.

<sup>3</sup> В 1992 году был подписан Лиссабонский протокол, согласно которому Украина, Белоруссия и Казахстан обязались передать свои ядерные арсеналы России. Это обязательство было выполнено в 1994–1996 годах. Джеймс Бейкер – госсекретарь США (1989–1992); он подписал Лиссабонский договор со стороны США.

<sup>4</sup> Чжоу Эньлай (1898–1976) – китайский политик, первый премьер Госсовета КНР.

логика: едва советский режим смягчился настолько, что позволил беспрепятственно изучать свое прошлое, радикальные перемены стали неизбежны. Едва Система показала себя такой, какая она есть или была, она подписала себе приговор. Именно с этого важного момента – возвращения истории в Советский Союз – я начинаю часть I моей книги. Далее, в части II, речь идет о зарождении демократии, а в части III – о конфронтации между старым режимом и новыми политическими силами. В части IV я пробую с разных ракурсов показать августовский путч – самый напряженный и невероятный эпизод новейшей российской истории – и его последствия. В части V мы увидим последнюю попытку Коммунистической партии оправдаться – на фоне становления новой страны. Все эти дни показаны в основном глазами нескольких человек, известных и не очень.

Я уверен, будь Надежда Мандельштам сегодня жива, она бы не стала долго предаваться ликованию. Она бы ожесточенно набрасывалась на несправедливость и бессмыслицу, которыми полна политика в России после тоталитаризма. Она бы сказала, что трудно ожидать от травмированного, долгое время жившего в изоляции народа, чтобы он моментально перешел к образу жизни, не обещающему государственной опеки от колыбели до гроба. Она, хоть и сама зачитывалась Агатой Кристи, была бы против наплыва треш-культуры, внезапной страсти к мексиканским сериалам и американским кроссовкам. Она бы понимала, что впереди – настоящие сложности, а может быть, и катастрофы. Но, повторяю, она бы осталась оптимистом. Оптимизм – это вера в постепенное и болезненное возрождение после крушения коммунизма, уверенность в том, что люди, служившие объектом советского эксперимента, накопили слишком большой исторический опыт, чтобы вернуться к диктатуре и изоляции. По всей России и в других бывших советских республиках мы можем наблюдать признаки того, что на сцену выходит новое поколение: художники, учителя, бизнесмены, даже политики. Люди, которые, как говорят в России, “свободны от старых комплексов”. Может быть, вскоре настанет день, когда для того, чтобы просто жить, людям не понадобится проявлять чудеса изворотливости, как в последние годы советского режима. Возможно, Россия даже станет в каком-то смысле “просто страной”, где справляются не с катастрофами, а с проблемами, где все не взрывается, а развивается. Это будет замечательная картина.

# Часть I

## По праву памяти

*Борьба человека с властью – это борьба памяти с забвением.*  
*Милан Кундера*

### Глава 1

#### Переворот в лесу

Пасмурным летним днем полковник Александр Третецкий из Главной военной прокуратуры СССР прибыл на место работы – в березовую рощу в 28 километрах от города Калинина<sup>5</sup>. Здесь находилось массовое захоронение. Третецкий вместе с помощниками принялись копать; они искали вещественные доказательства преступления тоталитарного режима – пробитые пулями черепа и изъеденные червями сапоги (остатки польской военной формы).

Утром, перед тем как выехать, они услышали по телевизору и радио тревожные новости из Москвы: Михаил Горбачев не может исполнять свои обязанности “по состоянию здоровья”. Власть взял ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению, – обещавший народу стабильность и порядок. Что это могло значить? От Москвы до Калинина – несколько часов езды на поезде, слухи и правдивая информация доходили сюда с большим опозданием. Поэтому утром 19 августа 1991 года, как и большинство жителей Советского Союза, Третецкий отправился на работу, как в обычный будний день.

Работа в калининских лесах была тяжелым заданием. За полвека до этого расстрельная команда НКВД по прямому указанию Сталина расправилась здесь с пятнадцатью тысячами польских офицеров, тела их бросили в братские могилы. Длившаяся месяц операция в Калининe, Катыни и Старобельске была частью плана Сталина по установлению контроля над Польшей. Молодые офицеры были одними из самых образованных людей в Польше. Сталин видел в них потенциальную угрозу, будущих врагов. На протяжении нескольких десятилетий Москва обвиняла в этих убийствах нацистов: согласно этой версии, поляков расстреляли немцы в 1941-м, а не НКВД в 1940-м. Кремлевская пропаганда придерживалась этой лживой версии в выступлениях, дипломатических переговорах и учебниках, использовала в идеологии и официальной истории, поддерживавших режим и империю. В Кремле до того серьезно относились к исторической дисциплине, что был создан огромный бюрократический аппарат, ведавший ею, конструировавший язык и само ее содержание, так что кровавые и бессудные расправы становились “победой над врагами и иностранными шпионами”, а тиран у власти – Лучшим другом советских детей и Горным орлом. Советский режим сотворил империю – огромное помещение с запертой дверью и закрытыми наглухо окнами. Все дозволенные в этом пространстве книги и газеты сообщали Принятую версию событий, а радио и телевидение денно и ночно проводили генеральную линию. Верных проводников Принятой версии награждали и именовали “профессорами” и “журналистами”. В цитаделях Коммунистической партии – Институте марксизма-ленинизма, Центральном комитете и Высшей партийной школе – жрецы идеологии могли отклоняться от вероучения только на свой страх и риск. Секреты были повсюду. КГБ так усиленно охранял свои, что построил дачи непосредственно в деревне Медное Калининской области, на месте расстрела и захоронения польских офицеров – чтобы было удобнее приглядывать за костями.

---

<sup>5</sup> Название Твери в 1931–1990 годах.

Но вот что-то изменилось и притом радикально. В начале своего правления Горбачев после некоторых колебаний решил, что пришло время заполнить “белые пятна” в истории. Он сказал, что пора снять розовые очки. Поначалу его высказывания были умеренными. Он говорил о тысячах, а не о десятках миллионов жертв. Он не отваживался критиковать Ленина – советского полубога. Но, несмотря на все колебания Горбачева, возвращение исторической памяти стало самым главным его решением, первоочередным, потому что без полной и беспощадной оценки прошлого, без признания фактов убийства, репрессий, разорения не могло идти и речи о переменах, а тем более о демократической революции. Возвращение исторического знания в частную, интеллектуальную и политическую жизнь стало началом великой реформы XX века и – нравилось это Горбачеву или нет – крушения последней на свете империи.

Многие десятилетия убийства в Калининe, Старобельске и Катyни для поляков оставались символом жестокости и имперской политики Москвы. Для поляка хотя бы намекнуть на то, что за расстрелы был ответственен Советский Союз, было поступком радикальным, даже самоубийственным, ибо этим он обнаруживал свою позицию: “дружба народов” и отношения между Москвой и Варшавой построены на насилии, на власти оккупанта над сателлитом. Даже Горбачев понимал, что признать ответственность СССР за преступления прошлого – значит подорвать позиции польских коммунистов. Но в 1990 году к власти уже пришла “Солидарность”, и терять Горбачеву было нечего. Когда в Москву прибыл с визитом генерал Войцех Ярузельский, Горбачев наконец признал вину Москвы и передал польскому правительству папки с документами о расстрелах в Катyни, Старобельске и Калининe.

Вскоре после того, как Кремль признал свою вину, начались раскопки. Вместе с советскими солдатами и польскими волонтерами полковник Третьцкий приступил к работе в Медном 15 августа 1991 года. Третьцкому было за сорок, он был кадровый офицер, худощавый человек с тонкими усами. В течение нескольких месяцев он раскапывал захоронения в Старобельске. И с каждой следующей раскопанной могилой все острее чувствовал себя обманутым. Третьцкий беззаветно верил в коммунизм и в Советский Союз. Он служил сначала на флоте, а затем, получив юридическое образование на Украине, решил стать кадровым военным. Почти четыре года он прослужил в Восточной Германии, в 1968-м добровольцем поехал в Чехословакию, где Советский Союз раздавил Пражскую весну.

“Я был тупицей, – говорит Третьцкий. – Я во все это верил. Я бы не задумываясь отдал жизнь за Родину”.

Он попросил командование направить его в Афганистан, и два года прослужил там, с 1987-го по 1989-й. А когда вернулся в Москву, ему пришлось познакомиться с настоящей историей своей страны, о которой он раньше знал так немного. Его направили на работу в Военную прокуратуру, которая занималась масштабными расследованиями по делам о реабилитации людей, репрессированных за последние 70 лет. Постепенно Третьцкий узнавал о страшных событиях в советском прошлом: чистках, убийстве польских офицеров, кровавом подавлении мирной демонстрации в Новочеркасске в 1961 году.

Когда ему поручили вести раскопки, сначала в Старобельске, а затем в Медном, Третьцкий взялся за дело со всем тщанием и усердием. В Медном он уже прекрасно знал, где копать и что искать. Предварительно он подробно расспросил местного жителя – Владимира Токарева<sup>6</sup>, офицера КГБ в отставке, который в 1940 году был одним из тех, кто выполнял поступивший из Москвы приказ. Когда изменившая свой ход история вдруг заинтересовалась Токаревым, он был уже слепым 89-летним стариком. Но память у него была ясная. Третьцкому и видеокамере он рассказал, как в апреле 1940 года его команда НКВД расстреливала польских офицеров в лесу под Калининoм – по 250 человек за ночь, в течение месяца.

---

<sup>6</sup> Скорее всего, ошибка: по делу о катынском расстреле допрашивали Дмитрия Токарева.

Группа, присланная из Москвы, по словам Токарева, “привезла целый чемодан пистолетов” типа “Вальтер-2”. “Наши советские ТТ были ненадежны. Они от постоянного использования перегревались<sup>7</sup>... Я был там в первую ночь расстрела. В их группе всем распоряжался Блохин, там было не меньше 30 человек, главным образом водители и некоторые тюремные караульные. К примеру... мой водитель Сухарев принимал активное участие. Блохин говорил: «Пошли!» и потом надевал свое обмундирование: кожаную коричневую кепку, кожаный коричневый фартук длинный, кожаные коричневого цвета перчатки с крагами выше локтей. Это была у него такая жуткая униформа. Я видел настоящего палача”.

“Выводили приговоренных по одному, по коридору, сворачивали налево, где был красный уголок. В красном уголке проверяли по списку: сходятся ли данные, данные личные, не имеется ли какой-нибудь ошибки, да... А затем, когда удостоверяться, что это тот человек, который должен быть расстрелян, немедленно надевали ему наручники и вели в камеру, где совершались расстрелы. Стены камеры также были обиты звукопоглощающей материей. <...> Никому не зачитывали ничего, ничего не говорили”.

“Первый раз привезли 300 человек, и это оказалось слишком много, ночь уже была короткая, и надо было как-то укладываться во время сумеречное. Стали потом по 250”. “Сухарев участвовал в расстрелах и еще хвастался мне, как сегодня ловко потрудились”. “Длилось это долго... Считайте: если по 240 – шесть тысяч, вы получите искомую величину. <...> Это с месяц, по-видимому, продолжалось”.

“При расстрелах я не присутствовал”. “В камеру, где совершались расстрелы, я не входил... но я обязан был им оказать помощь людьми”. “Я помню некоторых поляков”. “Одного парнишку спросили: «Сколько тебе лет?» Сказал – 18. «Где нес службу?» «В пограничной охране». Чем занимался? Был телефонистом. <...> Вошел и улыбался, да, парень, совершенный мальчик, 18 лет, а сколько служил? Стал считать по-польски – 6 месяцев”.

“За исполнение этой работы им давали спиртные напитки. <...> Этим всем распоряжался Блохин... покупали ящиками. <...> Перед расстрелом и во время расстрела никто не пил. Только после расстрела... напивались и шли домой спать”.

“Когда поднял проблему рабочих, надобных для выкапывания могил, меня высмеяли. <...> Блохин сказал, что привез экскаватор из Москвы и двух экскаваторщиков из НКВД. Из той камеры был выход на двор. <...> Этим путем вытаскивали трупы, грузили на автомобиль и уезжали. Было их 5–6 грузовых... Брезентом все накрывалось. <Место> выбрал сам Блохин. Рядом с тем, где НКВД своим сотрудникам дачи построило, моя дача тоже там была, в сторону Медного, километров 30 от Калинина. Рвы были величиной 8–10 метров в среднем, яма должна была быть достаточно большой, чтобы вместились 250 человек. А когда закончили всё, москвичи устроили в своем салон-вагоне что-то вроде банкета, навязчиво меня приглашали. Я не согласился и не пошел”.

Слепой старик монотонно бубнил, кивая на “других” и не признавая собственной роли в преступлении – такой же безжалостный и лицемерный зверь, каким был Эйхман в Иерусалиме. Но дело было уже не в Токареве. И даже не в расстрельщиках. Блохин и трое из его группы давно сошли с ума и покончили с собой. Дело было в том, что на каждом шагу историки, прокуроры, архивисты и журналисты получали подтверждения того, что в советском наследии таились трагедии столь же ужасные, как и те, о которых свидетельствовали “крамольные голоса” – Солженицына в “Архипелаге ГУЛаг”, Варлама Шаламова в “Колымских рассказах”. Теперь не было больше ни крамольных книг, ни голосов. И оказалось, что узнавать о прошлом, видеть кошмар 70 лет – почти невыносимое потрясение. История возвращалась стремительно; обычным делом становились документальные телефильмы о

---

<sup>7</sup> В протоколе допроса Третьяцкий говорит о “Вальтерах”: “Оказалось, что эти пистолеты быстро изнашиваются. Поэтому привезли их целый чемодан”.

расстреле царской семьи, насильственной коллективизации деревни, чистках и судебных процессах 1930-х. Литературные ежемесячники, еженедельные журналы, даже ежедневные газеты были заполнены отчетами о катастрофических потерях недавнего прошлого: сколько человек было расстреляно и арестовано; сколько разрушено церквей, мечетей и синагог; сколько было расхищено и растрчено. Погребенные под этой лавиной свидетельств, люди через какое-то время заговорили о пресыщении, даже о скуке. Но в действительности их мучили боль воспоминаний, шок узнавания. “Представьте себе, что вы взрослый человек и вам нужно за год, два или три узнать все об окружающем вас мире и о мире за пределами вашей родины, – говорил мне философ Григорий Померанц. – Вся страна до сих пор находится в состоянии массовой дезориентации”.

Для вождей коммунистической партии, руководителей КГБ и армии, миллионов провинциальных функционеров, воспитанных на сфальсифицированных фактах, правда была невыносима. Не потому, что они ей не верили. Факты прошлого им были известны лучше, чем кому-либо еще. Но правда угрожала их существованию, их комфорту и привилегиям. Получение ими пристойного кабинета, куска мяса и месячного отпуска в Крыму прямо держалось на колоссальном обмане общества, на неведении 280-миллионного народа. Егор Лигачев, консерватор из полибюро, вынужденно ушедший в отставку в 1990-м, уныло говорил мне, что, когда историческим знанием перестала владеть КПСС, когда ученые, журналисты и живые свидетели событий начали публиковать свои версии происходящего, “создалась мрачная атмосфера в стране. Это влияло на чувства людей, на их настроение, их работоспособность. С утра до ночи на них лился поток негатива о прошлом. Все патриотические темы выдавливались, отметались прочь. Люди хотят чего-то положительного, чего-то светлого, а наши культурные деятели напечатали больше лжи и антисоветчины, чем все западные враги, вместе взятые, за последние 70 лет”.

Когда история перестала быть инструментом Партии, Партия оказалась обречена. Ибо именно история показала: Партия прогнила до основания. Министры, генералы и аппаратчики, организовавшие августовский путч 1991 года, не раз встречались на подмосковных дачах, принадлежащих КГБ, чтобы обсудить распад их мира. Они говорили о необходимости установить порядок, прекратить разрушение Партии. Они до такой степени заблуждались относительно собственной страны, что верили в свою способность остановить возвращение истории. Ее они собирались держать под замком с помощью указа и пары танковых дивизий. Так же готовились поступить и с раскопками в Медном и других местах расстрелов польских офицеров. Путчисты постарались максимально помешать этой работе. Задолго до попытки переворота Валерий Болдин, руководитель аппарата президента СССР и один из главных августовских заговорщиков, попробовал минимизировать ущерб от разоблачений: он втайне переправил многие документы по этому делу из архива политбюро (VI сектора общего отдела ЦК) в “президентский архив”, который он курировал. Но этот шаг почти ничего не дал. Тогда Болдин и другие заговорщики решили разом покончить со всем, что их не устраивало. Они собирались не дать истории вернуться. Повернуть время вспять. Снова сделать страх самим существом государства.

В день путча люди Третьецкого – русские и поляки – старались сосредоточиться на работе. Они раскапывали старые захоронения, отмывали в обшарпанных тазах кости и фрагменты черепов. Но чем больше новостей до них доходило, тем тяжелее им работалось. Кто-то из солдат услышал, что армейские части, введенные в Москву, были из их дивизии – Кантемировской. В одной из походных палаток возле раскопок они включили телевизор и увидели знакомые лица: на бронетранспортерах, стоявших возле Кремля, Дома Советов<sup>8</sup>, на центральных московских улицах, сидели их друзья.

---

<sup>8</sup> Ныне Дом Правительства Российской Федерации (Белый дом).

“Погода была отвратительная, – вспоминал Третецкий. – Почти все время шел дождь. Чтобы просушивать уцелевшие фрагменты польской формы, мы относили их в палатку, затапливали печку и оставляли палатку открытой для циркуляции воздуха”. Работали в тот день полдня, затем Третецкий сказал своей команде: “На сегодня все”. Больше ничего говорить не стал.

А ему весь день названивали из Калининского управления КГБ. Генерал КГБ Виктор Лаконцев уведомил Третецкого, что в раскопках “более нет необходимости”, что ему нужно свернуть работы и немедленно явиться в управление. Третецкий возразил: работы будут идти по плану, а в управление он прибудет в конце рабочего дня. Хотя поведение Третецкого было смелым, на самом деле ему было страшно. “Я понял, что дело плохо”, – вспоминал он.

Вечером Третецкого доставили под охраной в кабинет Лаконцева.

Генерал настаивал на прекращении работ. “Прекращайте свое гробокопание, мы не гарантируем личную безопасность ни вам, ни польским рабочим”, – произнес он.

Третецкий рассмеялся. При раскопках в Старобельске и Медном всегда присутствовали сотрудники КГБ; они называли себя “наблюдатели”. Рабочие прозвали их “наблюдателями из ООН”.

Третецкий стоял на своем. Он подумал: “Только через мой труп”, но вслух выразился мягче. Он сказал генералу, что если дело в охране полей, то он готов обеспечить их безопасность. Можно их поселить в палатках вместе с советскими солдатами, а не в городе.

“Мы не можем прекратить расследование, – настаивал Третецкий. – Что я скажу полякам? Мне нужно обсудить это с моим начальством. Это так просто не решается”. Но про себя думал: “Лаконцев – большая шишка, а я кто такой?”

Вернувшись на раскоп, Третецкий позвонил в Москву и узнал, что приказа о сворачивании работ не поступало. У него будто гора с плеч свалилась. Измотанный, он лег спать в своей палатке. Но вскоре его разбудил командир подразделения, сообщивший, что им поступил приказ из Москвы: возвратиться в расположение Кантемировской дивизии, в подмосковный город Наро-Фоминск.

– Слушай, Виктор, – сказал Третецкий. – Приказ тебе поступил устный?

– Да.

– А приказ об откомандировании тебя сюда был письменный?

– Так точно.

– И зачем подчиняться устному распоряжению?

Солдаты остались на раскопках. КГБ не удалось обхитрить Третецкого. На самом деле никакого приказа из Военной прокуратуры в Москве не было.

На другой день в девять утра Третецкий произнес перед строем речь: “Работа продолжается. Приступаем сейчас. Работать с полной отдачей, с энтузиазмом. На этом все!”

Сотрудники КГБ забрали трактор, который использовали для раскопок. Но к этому времени Третецкий уже наладил связи с местным населением, и один из колхозов одолжил ему свой трактор. Польские участники группы были особенно благодарны Третецкому и хлопали его по плечу. Следующие два дня русские и поляки продолжали вскрывать захоронение и слушали радиосводки из Москвы. Понемногу начали приходить хорошие новости. Услышав, что с путчем вот-вот будет покончено, работать стали как будто с удвоенной энергией. Наконец утром 21 августа, когда заговор путчистов рухнул и армейские части с облегчением победоносно выдвинулись из Москвы в места дислокации, Третецкий вновь обратился к подчиненным с речью. Он не собирался больше жить во лжи. И не хотел возвращаться в прошлое – разве только чтобы исследовать останки.

“Уголовное расследование, начатое по приказу президента Союза советских Социалистических Республик Михаила Горбачева, продолжается!” – провозгласил полковник. А затем распорядился приступить к работе, и люди занялись раскопками.

## Глава 2

### Сталинистское детство

Вскоре после того как мы с моей женой Эстер в январе 1988 года переехали в Москву, меня пригласили на чай Флора и Миша Литвиновы. Они жили в квартире на Фрунзенской набережной, в районе, где обитали семьи многих партийных руководителей – как бывших, так и действующих. Литвиновым было за 70. Это была удивительная пара: поразительно добрые люди, они, казалось, знали всех и вся в Москве. Из них двоих Миша был более тихим. Думаю, его сдержанность объяснялась тем, что всю жизнь он был буфером между своим отцом Максимом (наркомом иностранных дел, вхожим в ближнее окружение Сталина) и сыном Павлом, диссидентом, одним из первых выступившим против режима. Находясь в самой гуще исторических событий, среди самих субъектов истории, Миша развил в себе искусство слушать. Он слушал собеседников с вниманием и видимым удовольствием. Но мало что могло удивить человека, чей отец на случай ночного ареста клал под подушку браунинг, а сын показал шиш политбюро. Так что в компании, чужой или своей дружеской, ведущая роль отводилась Флоре, которая говорила от имени семьи и вела светскую беседу.

Меня она спросила, о чем я собираюсь писать в Москве.

– Я хочу найти Кагановича, – ответил я.

Лицо у Флоры вытянулось. Они с Мишей были знакомы со многими американскими репортерами и, уж конечно, слышали о более вменяемых темах: контроль над вооружениями, права человека, политика Кремля. “Странный молодой человек”, – должно быть, подумала она, но по доброте душевной ничего не сказала.

Лазарю Моисеевичу Кагановичу в то время было сильно за 90. Он был последним живым соратником Сталина из его ближнего круга. В бытность наркомом он занимал при Сталине такое же положение, как Геринг при Гитлере. Он участвовал в проведении коллективизации в 1920–1930-х: это была жестокая кампания, которая погубила крестьянство и покрыла бесчисленными трупами землю украинских сел. В качестве главы московского горкома партии Каганович руководил строительством метрополитена; некоторое время тот носил его имя. Он был в ответе за разрушение церквей и синагог. При нем был взорван величественный храм Христа Спасителя в центре Москвы. Говорили, что купол храма был виден Сталину в окно, и он распорядился храм снести.

Продолжал ли Каганович по-прежнему верить? Мне хотелось это знать. Чувствовал ли он вину или стыд? Что он думал о нынешнем генеральном секретаре – Горбачеве? Но дело было даже не в этом. Мне просто хотелось оказаться в одной комнате с Кагановичем, увидеть, как выглядит этот злодей, узнать, что он делает, какие книги стоят у него на полках.

Миша слушал меня, но как-то рассеянно. Пока я говорил, он складывал салфетку в... нечто. Он не так давно пристрастился к оригами – японскому искусству складывания фигур из бумаги – и стал настоящим мастером. Повсюду в комнате были его поделки: восьмигранники, тетраэдры, аисты, насекомые.

– Знаете, – сказал он, разглаживая ребром ладони складку на бумаге, – Каганович живет здесь, под нами.

Как здесь?! О том, что он живет на набережной, я знал, но полагал, что в одном из солидных домов, до сих пор населенных потомками старых большевиков и сталинской гвардии. Но прямо здесь? На старых фотоснимках Каганович выглядел крупным мужчиной с прусскими усами и глазами цвета агата. Выйдя в отставку, он стал лучшим доминошником во всей округе. Со всеми, кто появлялся во дворе, он садился играть. Однажды, еще в брежневское время, Каганович позвонил в райком партии и потребовал установить в его дворе фонари, чтобы он мог играть в домино летними вечерами. За ним сохранялось право

на медицинское обслуживание в привилегированных кремлевских больницах, в Четвертом главном управлении. Так что он был вполне жив-здоров. Но он был не где-то, а этажом ниже.

– Квартира 384, – сказал Миша. – Раньше мы часто встречали его – в лифте, во дворе. Но теперь совсем не видим. Говорят, он не выходит на улицу. Никому не открывает. Может быть, у него есть сиделка. Я не знаю, может ли он еще ходить. Он совершенно слепой.

С этими словами Миша взял ножницы и сделал мельчайший надрез на салфетке. Затем медленно развернул бумагу. На его ладони стоял индюк и встряхивал свое оперение.

Когда у меня в Москве выдавался свободный час-другой, я приходил в дом к Мише и Флоре на Фрунзенскую, 50, 9-й подъезд, надеясь встретить Кагановича. На протяжении многих месяцев я сотни раз звонил в квартиру 384, иногда по полчаса и даже дольше. Я подсовывал записки под дверь и опускал их в почтовый ящик. Я звонил и стучал в дверь, прикладывал к ней ухо и вслушивался. Иногда до меня доносилось какое-то бормотание, иногда – шаркающие звуки, кто-то проходил в тапочках.

Дочь Кагановича Майя, сама уже пожилая женщина, по вечерам приходила проведать отца, приготовить ему ужин. Со мной она не разговаривала; когда я звонил ей домой, она передавала трубку другим людям. “Послушайте, он слишком стар для всяких встреч, – сказал мне один его родственник. – Мы не хотим, чтобы к нему приходили и задавали неприятные вопросы о прошлом. Это его только расстраивает”.

Я ошивался в его дворе и в основном говорил о нем с его соседями. “Он никого к себе не подпускает, – сообщил мне один молодой инженер, с которым мы сидели на дворовой скамейке. – Думаю, он сейчас всего боится. Скоро он умрет, и ему повезет, если его имя хотя бы напечатают в «Правде». А в свое время эта сволочь могла бы всех нас убить”.

В другой раз я познакомился во дворе с одной из самых старых соседок Кагановича. У нее был белорусский говор и глаза синие, как васильки. Она вышла на свою ежедневную прогулку. Дети прыгали через скакалку и играли в классики, а на них смотрели старики и старухи. “Еще недавно Каганович тут торчал целыми днями – играл в домино или просто сидел вдвоем с дочерью, – рассказала она. – Все знали, кто он такой, что творил при Сталине. В этих домах на набережной жило много шишек из партии, но таких, как Каганович, да еще до сих пор живых, нет. Я его всегда сторонилась. В наших краях говорили: чем дальше от царя, тем целее будешь”.

У меня был номер телефона Кагановича – 242-67-51, но он никогда не брал трубку. Позже один русский журналист, который много лет тоже пытался добраться до Кагановича, объяснил мне, что для звонков есть условный код: нужно набрать номер, выждать два гудка, повесить трубку и вновь набрать номер. Я так и сделал. Трубку взял старик.

– Алло?

– Алло, Лазарь Моисеевич?

– Да.

– Лазарь Моисеевич, моя фамилия Ремник. Я репортер американской газеты *The Washington Post*. Я хотел бы, если можно, прийти к вам.

– Это не нужно.

– Я слышал, что вы не очень здоровы, но я...

– Это не нужно. Я ужасно себя чувствую. Я ничего не вижу. Ужасно себя чувствую.

– Может быть, когда вы будете чувствовать себя получше...

– Я всегда ужасно себя чувствую. Никаких интервью, я не даю никаких интервью.

Зачем я буду давать интервью?

Его голос, сначала слабый, теперь окреп, словно говорить для Кагановича было упражнением.

– Лазарь Моисеевич...

– Я сказал, никаких интервью. И все на этом!

– Но...

Он повесил трубку. Вероятно, вскоре он сменил код: старый больше не работал, а подобрать аналогичный другой мне не удалось. Оставалось, как и раньше, околачиваться у его двери. Репортеру часто приходится вести себя по-дурачки, но в этом бесконечном стукании в дверь насильника было что-то особенно стыдное. В голову лезли диковатые мысли об этикете: насколько позволительно домогательство по отношению к массовому убийце? Однажды я поднялся в гости к Флоре, и та с материнской улыбкой выслушала мои жалобы на вечно закрытую дверь.

– Ну вот откроет он вам, и что? – спросила Флора. – Вы думаете, он разрыдается и попросит прощения?

– Ну, не так, конечно.

– Он старик, – сказала она. – Что в нем теперь?

А потом Флора рассказала мне такую историю.

Однажды зимой, еще при Сталине, году в 1951-м или 1952-м, она зашла в комнату к сыну и наклонилась, чтобы поцеловать на ночь. Павел повернулся к ней; она запомнила, как хрустнуло накрахмаленное белье. В сумраке его лицо блестело, мокрое от слез. Он только что плакал и еще прерывисто дышал. Павел был крупным, уверенным в себе, умным мальчиком, но сейчас он выглядел растерянным и напуганным настолько, что даже боялся говорить.

– Что случилось? – спросила Флора. – В чем дело?

Павел долгое время молчал. Затем отвернулся и вроде бы успокоился.

– Скажи, пожалуйста, что случилось?

– Мне не велели тебе говорить, – ответил он. – И я обещал.

– Почему?

– Это секрет.

– Секрет?

– Да, – ответил он. – Секрет.

– Мне можешь рассказать. Хорошо, что ты держишь слово, но родителям можно всегда все рассказывать.

Дед Павла Максим Литвинов был сталинским наркомом по иностранным делам. Он умер за несколько месяцев до этого разговора, но его семья по-прежнему жила по меркам того времени в привилегированных условиях. У них была квартира в Доме на набережной – обширном комплексе, выстроенном для партийной элиты на набережной Москвы-реки, с огромными комнатами, спецстоловыми и театрами. Для элиты в Советском Союзе существовали и книги на иностранных языках, и компетентные врачи, и хлеб с икрой, и помидоры зимой. У Литвиновых даже была своя домработница (в чине лейтенанта КГБ). Лето семья по большей части проводила на даче в Химках. Этот дом, окруженный березами и соснами, изначально строился для семьи Сталина. Многие одноклассники Павла были детьми партийной номенклатуры – вернее, тех из нее, кто уцелел после первых чисток. Все эти школьники были тимуровцами – участниками патриотического движения, напоминавшего скаутское.

– Скажи мне, прошу тебя, – допытывалась Флора. – Что случилось? Почему такой секрет?

Павел боялся. Он дал честное слово тимуровца никому ничего не рассказывать, а рассказать было что, и ему было страшно. Но и сказать маме “нет” он тоже не мог.

Он рассказал, что скоро начнут искать “врагов народа”. Ему сказал об этом один из его лучших друзей. Флора знала, что этот мальчик – сын офицера МГБ.

– Он говорил, что шпионы могут быть где угодно, – продолжал Павел. – Где угодно! Даже у каждого из нас дома!

Флора рассердилась. Она знала, что главной задачей взрослых кураторов тимуровцев было превращать детей в осведомителей, доносящих на собственные семьи. Она скорее испугалась – главным образом за сына, – но не удивилась. В конце концов, этих детей приучали чтить память Павлика Морозова – двенадцатилетнего пионера, которого пропаганда превратила в национального героя и образец для подражания советских детей. Павлик помог колхозу, донеся на собственного отца, который укрывал от государства зерно<sup>9</sup>. Этих детей воспитывали в школах, устроенных в соответствии с теорией о “семье в социалистическом обществе”. Автором этой теории был служивший в органах специалист по воспитательной работе Антон Макаренко. Макаренко считал, что детям следует прививать убеждение в приоритете общественного над личным, политической (партийной) ячейки – над семейной. В школах, по его мнению, следовало поддерживать железную дисциплину – по образцу Красной армии и сибирских трудовых лагерей.

Павел все рассказывал и рассказывал. Двое незнакомых ему людей, сказал он, предупредили его, что скоро он получит “специальное задание”. Флора прекрасно понимала, что это значит: мальчика заставят доносить на своих домашних.

Сталин и его приближенные всегда с настороженностью относились к Максиму Литвинову и его необычной семье. Хотя Максим безупречно служил режиму в бытность наркомом иностранных дел и послом в Соединенных Штатах, он совершенно не походил на серых приспешников Сталина. Он был человеком светским. Он владел иностранными языками. У него были друзья-иностранцы. Он и женился на иностранке – эксцентричной англичанке Айви, которая писала романы, имела любовников и любовниц и пропагандировала бейсик-инглиш – созданный Чарлзом Огденом искусственный язык со словарем из 850 слов для изучения начатков английского языка. Когда муж дал Айви прочесть “Руководство для умной женщины по вопросам социализма и капитализма” Бернарда Шоу, та, в свою очередь, вручила ему Джейн Остин, Лоуренса и Троллопа.

Литвинов всегда, но особенно после того как был выведен из состава ЦК в 1941 году, сочувственно относился к политическим интересам иностранцев. В 1944-м он сказал репортерам, что у Сталина есть имперские планы относительно Восточной Европы, и поинтересовался, почему Запад никак не реагирует. В статье, опубликованной в *Foreign Affairs* в 1977 году, историк Войтех Мастны назвал Литвинова “Кассандрой Наркомата иностранных дел”, дипломатом, который не боялся вслух жаловаться на “закостенелость всей советской системы”. Сталин, разумеется, был в курсе этих разговоров. В своих воспоминаниях Хрущев писал, что в МГБ был разработан детальный план убийства Литвинова: покушение предполагали устроить по дороге на химкинскую дачу. Однако Литвинову повезло. У него была многолетняя привычка, ложась спать, класть у изголовья револьвер, но ареста он все же избежал. То, что он умер своей смертью от старости, кажется чудом. “Они его не получили”, – сказала Айви своей дочери сразу после смерти мужа. Семья и историки могут только гадать о причинах этого. Сталин, конечно, ценил связи Литвинова на Западе, возможно, он думал, что шумиха, которую устроят там – слишком высокая плата за устранение Литвинова.

И после смерти Литвинова 31 декабря 1951 года его семья по-прежнему боялась какого-нибудь кровавого каприза Сталина, внезапного стука в дверь. Родители Павла – Михаил и Флора, – а также его тетя Татьяна были не так бесшабашны, как Айви, лучше понимали опасности времени и места. Но и их более осторожное поведение могло в конце концов привести их в тюрьму или даже в расстрельную камеру. Миша был способным

---

<sup>9</sup> Согласно официальной версии, отец Павлика Морозова не укрывал зерно, а изготавливал для раскулаченных переселенцев фальшивые справки.

молодым инженером в Институте авиационного моторостроения и “героем социалистического отдыха”: альпинистом, бегуном, разбирался в теории игр. Такое поведение, конечно, было подозрительно эксцентричным. Тетку Павла Татьяну выгнали из художественного вуза за “нездоровый интерес” к “упадническому западному искусству”. По крайней мере, дома семья говорила обо всем открыто. Однажды Павел принес домой библиотечную книгу, прославлявшую храбрость Павлика Морозова. Его потряс подвиг мальчика во имя государства, его героическое предательство отца. Флора пришла в ярость. Она выдрала из книги страницы и сказала Павлу, что он никогда, никогда не должен предавать родителей. Дети никогда не должны так поступать, что бы там ни писали в глупых книжках.

– Даже если родители плохие? – спросил Павел.

– Да. Даже если плохие.

И вот теперь Флоре предстояло решить, что сделать со “специальным заданием”, которое хотели поручить ее сыну. Она не могла допустить, чтобы Павел стал новым Павликом Морозовым. Наутро Флора надела свое лучшее платье и отправилась домой к другу Павлика – сыну офицера МГБ. Она решила блефовать: напугать офицера и представить дело так, словно у Литвиновых есть покровитель “наверху”. Она постаралась произвести впечатление почтенной матроны из правоверного советского семейства. Для этого ей понадобились элегантный шарф и внушительная шляпа.

– Вы не имеете права вступать с моим сыном ни в какие переговоры! – с ходу заявила она. – Это должно прекратиться немедленно!

И с этими словами она ушла – дрожа от гнева и от собственной невероятной дерзости. Только спустя некоторое время она задумалась о том, на какой шла риск.

В следующие несколько недель Миша и Флора много говорили о том, как им вести себя с детьми. Они решили, что скрывать все то, что они знали, больше нельзя. Рвать время от времени пропагандистские книжки и хранить при этом молчание – этого было недостаточно. Если они не хотят, чтобы Павел и Нина стали юными сталинистами, какими их собиралась сделать школа, значит, придется при каждом удобном случае говорить им правду. Придется рассказать Павлу, что случилось со многими мамами и папами, бабушками и дедушками его одноклассников. Рассказать, как их заталкивали в “черные маруси” и потом отправляли в лагеря на Колыму, в Воркуту и Казахстан, где эти люди сгинули. Придется постепенно объяснять детям, что Сталин, Горный орел, был кровожадным чудовищем. Павлу придется научиться думать в других категориях, не в тех, что ему днями напролет навязывает окружающие.

Флора и Миша не могли позволить себе говорить откровенно слишком часто. Опасность действительно была велика. Не могли они и противостоять интенсивности сталинского культа во всех мыслимых формах: парадам, восславлявшим Сталина как земного бога, газетам, описывавшим его героические свершения, выступлениям на радио, книгам по истории, написанным кремлевскими идеологами, пионерским шествиям и военизированным играм. Павла научили любить Сталина, как в других странах детей учат любить Бога. Сталин был добрым божеством, всеведущим и нежным отцом. Он редко появлялся на публике. Но его портреты были на плакатах, дирижаблях, транспарантах и иконах. Его словами были заполнены школьные учебники, газеты, радиоэфир. “Соперничать с этим трудно, – думала Флора. – Может быть, невозможно”.

Когда в марте 1953 года Сталин умер, Павлу шел 13-й год. Мальчик был безутешен. Он плакал целыми днями. В школьном дворе он дрался с детьми, которые не оплакивали Сталина так, как он. Дома он пришел в негодование, услышав, как его родители шутят с друзьями о товарище Сталине. Он застал их на кухне: они не горевали, а праздновали. Павел покраснел, выбежал из кухни и лег в постель – злой и ничего не понимающий.

Несколько следующих лет всем Литвиновым пришлось нелегко. Миша и Флора были молодыми родителями и часто не справлялись с Павлом. В школе он учился кое-как. В 17 лет женился и вскоре развелся. Он выпивал, часами сидел за карточным столом, играл на скачках. “Лошадьми он просто бредил, – вспоминала Флора. – Мы боялись, что Павел кончит жизнь опустившимся игроком”.

Но Павел рос, и, конечно, на него оказала влияние инициированная Хрущевым во второй половине 1950-х оттепель с ее антисталинскими настроениями и появлением новых исторических и публицистических книг. Сотни тысяч заключенных вернулись домой из лагерей. Всем им было что рассказать. Литвиновы знали многих интеллектуалов, побывавших в лагерях: писателей, художников, ученых, даже партийных деятелей. Для Павла это было временем откровений. Он сидел за столом на кухне и впервые слышал подлинную историю сталинского времени. Один из ближайших друзей его родителей, физик Михаил Левин, вышел из лагеря в 1955 году. Он рассказывал об условиях жизни там, о бессмысленных смертях бесчисленных ни в чем не повинных людей. “Было похоже, будто я просыпаюсь после долгого, долгого сна, – много позже говорил Павел. – Мои детские фантазии, любовь к Сталину внезапно стали казаться болезненными и нелепыми”.

В начале 1960-х Павел начал преподавать физику в Московском институте тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова. Он подружился с несколькими интеллектуалами, которые внимательно следили за первым из знаменитых диссидентских процессов – делом “антисоветских” писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. У старших друзей – писателей и ученых – Павел был любимчиком: обаятельный молодой человек, умница, с весьма любопытным происхождением. Он с головой погрузился в этот новый мир. Читал в самиздате запрещенные книги, принимал участие в бесконечных кухонных спорах, которые тогда были средоточием интеллектуальной жизни. Прочел Солженицына, лагерные рассказы Варлама Шаламова, “Большой террор” Роберта Конквеста. Помогал составлять письма в защиту политзаключенных и, сильно рискуя, передавал эти письма западным журналистам. Кроме того, он вошел в одну из самых известных семей в среде московской интеллигенции – литературоведов Льва Копелева и Раисы Орловой, женившись на дочери Копелева Майе. Копелев был сокамерником Солженицына и прототипом одного из героев его романа “В круге первом”. Павел Литвинов им восхищался. В молодые годы Копелев был правоверным коммунистом, истово верующим, но затем “подучился”. Он был для Павла живым свидетельством способности человека ясно видеть и мыслить, поступать честно даже в запредельно тяжелой ситуации.

21 августа 1968 года Павел и шестеро его друзей с ужасом слушали на коротких волнах репортаж из Чехословакии. Несколько месяцев они пристально следили за ходом Пражской весны и радовались попыткам Александра Дубчека создать “социализм с человеческим лицом”. Они гадали, как отреагирует Леонид Брежнев, сместивший и заменивший Хрущева, на бунт в государстве-сателлите. Стоит ли ждать от него такой же жестокости, какую продемонстрировал Хрущев в 1956 году в Венгрии, или же он проявит терпимость? Теперь ответ был дан. Голос ведущего подпольной чехословацкой радиостанции доносился глухо и прерывисто: “Русские братья, возвращайтесь домой, мы не звали вас”. Близкая подруга Павла, одна из первых диссидентов, Лариса Богораз была совершенно подавлена. Ее друг, в будущем – муж, Анатолий Марченко, находился в тюрьме за свою политическую деятельность. Теперь стало понятно, что инакомыслие в более широком масштабе советский режим готов подавлять войсками и танками.

“Нужно что-то сделать, как-то выступить, – думала она. – Немедленно”.

Павел, Лариса и еще пятеро человек встретились, чтобы обсудить, что можно сделать<sup>10</sup>. Было решено выйти на короткую демонстрацию против вторжения в Чехословакию в полдень 25 августа. Все прекрасно понимали, каковы будут последствия такого “антисоветского” выступления: тюремный срок, ссылка или принудительное лечение в психбольнице. Они знали, на что идут. Павел начал готовиться – собирать вещи, раздавать книги друзьям. Свою судьбу он считал предрешенной.

Накануне демонстрации Павел пошел в гости к Копелевым. У них в тот вечер пел знаменитый бард Александр Галич. Настроение было похоронное, водка не помогала. Ввод войск в Прагу означал конец оттепели и конец надеждам на “социализм с человеческим лицом”. Брежнев разворачивался в сторону неосталинизма. Несмотря на все колебания и половинчатость реформ, эпоха Хрущева могла вскоре показаться потерянным раем. Писатель Василий Аксенов говорил, что вторжение в Чехословакию вызвало нервный срыв у целого поколения. Гости у Копелевых говорили о своем возмущении, о стыде, который испытывают перед чехами, перед венграми, перед поляками – перед всем миром, за то, что они – советские граждане. Собственно, они не ощущали себя гражданами: они были подданными.

Галич пел песню о декабристах, чье выступление пришлось на начало правления Николая I:

Можешь выйти на площадь,  
Смеешь выйти на площадь  
В тот назначенный час?!

Павел чувствовал на себе взгляд Галича. Двойной смысл стихов – отсылка к бунту другого века и призыв к новому поколению – не ускользнул ни от кого и в особенности от Павла. Когда Галич отложил гитару, Павел уже готов был объявить о завтрашней демонстрации, но передумал. Он боялся, что люди старшего поколения, собравшиеся в этой комнате, не смогут не прийти. Но для них годы ссылки или тюрьмы могли быть равнозначны смерти.

Назавтра, за несколько минут до полудня, Павел, Лариса Богораз и их друзья собрались на Красной площади у Лобного места, поблизости от которого палачи когда-то рубили головы злодеям и отступникам. Когда куранты на Спасской башне пробили двенадцать, демонстранты развернули несколько плакатов. По-чешски: “Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!” По-русски: “Свободу Дубчеку”, “Руки прочь от ЧССР!” и “Позор оккупантам!” Поэтесса Наталья Горбаневская пришла на площадь с трехмесячным сыном. Когда остальные встали у Лобного места с плакатами, она достала из коляски, в которой спал ребенок, флаг Чехословакии.

Демонстрация в любом случае не продлилась бы долго. Агенты КГБ “вели” Литвинова и остальных вплоть до самого Кремля. Но в тот же день на Красной площади находился особый контингент офицеров КГБ. Они ожидали окончания встречи Брежнева с лидерами Пражской весны; в ночь после вторжения их привезли в Москву в наручниках. Увидев плакаты, охранники набросились на демонстрантов с криками “Это все жида!” и “Бей антисоветчиков!”. Павлу сильно разбили лицо, художественному критику Виктору Файнбергу выбили несколько зубов. Офицеры КГБ затолкали демонстрантов в машины без опознавательных знаков и увезли в милицию.

Через несколько минут на площади опять стало тихо. Туристы могли снова спокойно наблюдать, как проходит смена почетного караула у мавзолея Ленина. Или любоваться на

---

<sup>10</sup> Демонстрация 25 августа 1968 года вошла в историю как “демонстрация семерых”, но на самом деле в ней участвовало восемь человек. Самую молодую участницу, Татьяну Баеву, другие участники уговорили представиться на допросе случайной свидетельницей.

полосатые леденцовые купола храма Василия Блаженного. Пожилые мороженщицы торговали ванильными рожками, старики-фотографы предлагали сделать моментальные снимки гостей столицы, товарищей из братских Софии, Будапешта и Ханоя. Вдруг охранники дунули в свистки и оттеснили людей от Спасских ворот Кремля. На бешеной скорости из ворот вылетела вереница черных служебных машин. Охранники вновь засвистели. И опять стало тихо. Тогда об этом никто не знал, но в одной из пролетевших машин, вероятно, сидел Александр Дубчек – лидер Пражской весны, а теперь московский пленник.

“Было бы прекрасно, если бы Дубчек и другие увидели демонстрацию в свою поддержку. Но – не увидели, – говорил мне впоследствии Андрей Сахаров. – И все же самое важное то, что в стране нашлись люди, которые захотели отстоять ее достоинство”.

Разумеется, суд над демонстрантами был фарсом, тоталитарной театральной постановкой. 11 октября 1968 года перед приговором Павел произнес свое последнее слово:

“Я не буду занимать ваше время анализом материалов судебного следствия. Я себя виновным не признаю. Наша невиновность в действиях, в которых нас обвиняют, очевидна. Тем не менее мне также очевиден ожидающий меня обвинительный приговор. Этот приговор я знал заранее – еще когда шел на Красную площадь. Я совершенно убежден в том, что в отношении нас была совершена провокация сотрудниками органов государственной безопасности. Я видел слежку за собой. Свой приговор я прочитал в глазах человека, который ехал за мной в метро. Я видел этого человека в толпе на площади. Того, который задерживал и бил меня, я тоже видел раньше. <...> Тем не менее я вышел на площадь. Для меня не было вопроса, выйти или не выйти. Как советский гражданин, я считал, что должен выразить свое несогласие с грубейшей ошибкой нашего правительства, которая взволновала и возмутила меня... <...> «Дурак, – сказал мне тогда милиционер, – сидел бы тихо, жил бы спокойно». Может, он и прав. Он уже не сомневался в том, что я человек, потерявший свободу. <...> Кто определяет, что в интересах социалистического строя, а что – нет? Может быть, гражданин прокурор? <...> Прокурор с одобрением, чуть ли не с нежностью говорит о действиях людей, которые задерживали нас, оскорбляли и избивали. <...> Это-то и страшно. Очевидно, именно эти люди определяют, что такое социализм и что такое контрреволюция. Вот что меня пугает. Вот против чего я боролся и буду бороться всеми известными мне законными средствами”.

Наказание получили все<sup>11</sup>. Павла Литвинова приговорили к пяти годам ссылки. Он был отправлен в рабочий поселок в Сибири, недалеко от тех мест, где больше ста лет назад отбывали каторгу декабристы.

Вернувшись в Москву, Павел понял, что стоит перед неизбежным выбором: тюрьма или эмиграция. Если он продолжит свою правозащитную деятельность – а по-другому он поступить не мог, – ему бы грозил лагерь, а не повторение более мягкой ссылки в Сибирь. Офицер КГБ сказал Литвинову, что если он подаст заявление на отъезд, то, скорее всего, получит “положительный ответ”. На безрадостной вечеринке в 1973 году Павел попрощался с друзьями и родными.

“Уезжая, я думал, что это навсегда и что я никогда больше не увижу родителей, – рассказывал Павел. – Так думали многие. Ты уезжаешь, и люди, которых ты оставил здесь, для тебя все равно что умерли. Да, они живы, но ты их уже потерял – так, как теряют умерших”.

Павел и Майя Литвиновы начали новую жизнь в Соединенных Штатах. Павел устроился преподавателем физики и математики в Хэкли-Скул – небольшую частную школу в

---

<sup>11</sup> Горбаневская не была привлечена к суду, потому что была матерью грудного ребенка; впоследствии она была признана советскими психиатрами невменяемой, в 1969 году все же была арестована, провела несколько месяцев в тюрьме и затем больше года – на принудительном лечении в психиатрической больнице.

Тэrrитауне, штат Нью-Йорк. Они путешествовали, заводили новых друзей. Но многие годы они существовали в пограничном состоянии. Трансформация, которую пережил Павел Литвинов, переход от покорности к независимости, стоила ему семьи и дома. Большинство из тех, кого он оставил на родине, не имели возможности отстоять свою независимость. Советский Союз был уже не тот, что при Сталине. И хотя лагеря были закрыты, система устояла. Страх сохранялся, никто не был свободен.

Прожив на пространстве, которое некогда было Советским Союзом, почти четыре года и изрядно исколесив его, я не раз наткался на бывшие лагеря. В дни первых забастовок на сибирских угольных шахтах в 1989 году кемеровские шахтеры предложили мне поглядеть в поле за забором, где стояло несколько приземистых построек. “Видите вон те низенькие здания, слева от коров? – спросили меня. – Это бараки”. В действующей тюрьме под Пермью я пил чай с печеньем у начальника тюрьмы. В свое время он похоронил нескольких диссидентов, теперь подумывал о пенсии. Было время, когда вся страна была частью лагерной системы – архипелага ГУЛаг, по определению Солженицына, – и не нужно было далеко ехать, чтобы в этом убедиться. Как-то вечером я зашел на чай к одному старику, который жил на Ленинском проспекте, поблизости от моей московской квартиры.

– Для меня всегда было честью жить здесь, – сказал он мне.

У него была однокомнатная квартира, отопление не работало, а трубы протекали.

Какая может быть честь здесь жить, спросил я.

– Эту развалюху строил Солженицын, – ответил дед, сверкнув золотыми коронками. – Он был в бригаде эков, строивших дом.

Каждая из таких встреч живо напоминала мне о моей связи с этими краями и о том, что мне повезло родиться не здесь. Оба моих деда, Алекс и Бен, родились примерно в одно время в похожих деревеньках, утопавших в грязи, только Алекс – под Вильно (ныне Вильнюс), а Бен – под Киевом. Насколько я знаю, обеих деревень уже не существует. Оба деда мало что помнили, да и не хотели помнить о своем детстве в Российской империи. В старости обоим поражала тяга молодых к “корням”. У них ностальгии не было. Им повезло, что они вырвались оттуда. Когда до них дошли слухи о погромах, они бежали из России: пешком, верхом на лошади, по железной дороге и, наконец, морем. Они приплыли в Касл-Гарден и на остров Эллис<sup>12</sup>. Алекс продавал в Нью-Йорке “аксессуары”: застёжки, нейлоновые чулки, шпильки для волос; его лавочка находилась на углу Принс-стрит и Бродвея. Бен работал продавцом в магазинах одежды в городе Патерсон, штат Нью-Джерси. Когда я в старшей школе начал изучать русский, оба моих деда с вежливым любопытством улыбнулись – и только. Они знали по-русски слов семь или восемь, и это было все. Для них Россия была чем-то вроде горящего дома, из которого им удалось выбраться посреди ночи. Перед своим отъездом в Россию я слетал в Майами-Бич. Деду Бену удалось сменить свой дом в Патерсоне на небольшую комнату с видом на Атлантический океан и “скорой помощью” в соседнем гараже, на первом этаже. Ему было сто лет. Когда я сказал ему, что собираюсь три или четыре года прожить в Москве, он ответил: “Ты с ума сошел. Мы едва ноги оттуда унесли, а ты, мешуга<sup>13</sup>, хочешь вернуться”.

Родные моей жены отнеслись к нашему отъезду в Москву с еще большей опаской. И у них были на то основания. Их бегство из России вышло не таким удачным. Дед моей Эстер, Симон, родом из Белоруссии, был известным раввином. Получив место в Польше, он женился на Нехаме. Ее предками были семь поколений раввинов; собственно, ее девичья фамилия, Робинсон, и значила “сын раввинов”. Затем Симон вернулся в Белоруссию: там он был и раввином, и преподавателем философии в гимназии. В 1939 году в городок Дисна

---

<sup>12</sup> Два пропускных пункта для иммигрантов в США.

<sup>13</sup> Мешуга (משוגע) – безумец (ивр.).

приехал агент НКВД – за Симоном. Горожане и члены общины отказались выдать ребе. Но Симон, узнав об агенте, сам нашел его и пригласил к себе в дом. Появившись на пороге, сотрудник НКВД произнес нечто странное. “Если вы не против, – сказал он напуганной семье, – я бы хотел сначала с вами помолиться”.

Когда они прочли молитву, стало ясно, что сотрудник органов – то ли двойной агент, то ли агент, которому не чуждо милосердие. Симону он прямо сказал, что его собираются арестовать. “Уезжайте, – посоветовал он. – Прямо сейчас, без ничего”.

Симон бежал в независимую Литву. Вскоре за ним последовали жена и дети. Но в июне 1940-го, в первые же дни советской оккупации Литвы, его арестовали в Вильно и шесть месяцев продержали в тюрьме. Оттуда его перевели в лагерь в поселке Сухобезводное (говорящее название!), на Урал<sup>14</sup>. Больше о нем ничего не известно.

“Члены семьи врага народа”, Нехама и дети – Мюррей, Рита и крошечная Мириам, будущая мать Эстер, – были высланы в Сибирь. Нехаму определили на работу в колхоз. Когда она отказалась отдать сына в армию, ссылаясь на их польское гражданство, обоих арестовали и посадили в тюрьму. Четырнадцатилетняя Рита осталась одна, Мириам отправили в детский дом в Западной Сибири. После войны Мириам с сестрой, братом и матерью сумели уехать из России.

Нехама многие годы наотрез отказывалась говорить о прошлом. Когда подросшая Эстер начала настаивать, чтобы ей рассказали о том, что было с семьей, бабушка была уже не вполне в ясном уме. Она путалась в датах, переходила с одного языка на другой. Через три месяца после нашей свадьбы мы с Эстер переехали в Москву. “Надеюсь, вы будете приезжать домой, – сказала на прощание Мириам. – Там я вас вряд ли навешу”.

---

<sup>14</sup> Ошибка автора: поселок Сухобезводное, где размещалось управление Унжлага (Унженского исправительно-трудового лагеря), находится в Нижегородской области.

## Глава 3

### Хранить вечно

После смерти Сталина государство стало превращаться в одряхлевшего тирана, ссутулившегося в углу, с катарактами на глазах, камнями в желчном пузыре и обмягшими мышцами. Тиран в дешевых ботинках и блестящем костюме, пропахшем потом. Он пачкается едой и мочится в брюки. По утрам он чувствует во рту золистый привкус старости. Он говорит нечленораздельно и не замечает этого. Мысли проплывают у него в голове, как набухшие грозовые тучи; иногда, несколько раз в году, в мозгу проясняется – когда надо вспомнить старые легенды о Великом Октябре и Великой Отечественной войне. Иногда, когда в кабинете сгущаются сумерки, он раскладывает на зеленом сукне подарки, привезенные иностранцами: золотой портсигар, серебряную Эйфелеву башню, цветные ручки, хрустальные пресс-папье. Государство уже почти в маразме, но по-прежнему опасно. В кармане у него по-прежнему лежат ключи от границы, и без его разрешения никакое движение в обществе невозможно. Время от времени у него случаются припадки, и тогда лихорадит весь мир.

Как государство оставалось в живых, как оно существовало день за днем, было загадкой. История была сказкой, механизмы повседневной жизни – огромной машиной Руба Голдберга<sup>15</sup>, которая чудом продолжала как-то двигаться. Если бы не усиленная эксплуатация советских нефтяных месторождений и мировой энергетический кризис, экономика СССР рухнула бы раньше, чем это случилось на самом деле. В начале 1980-х КГБ сообщал, что финансовой подушки, созданной благодаря нефтяным доходам, больше нет. Мы летим в пропасть, предупреждали наиболее трезво мыслящие сотрудники органов. Экономика обречена. Ни один институт, ни один человек не работали в нормальном смысле этого слова. Под Вологдой я видел колхозных невольников, которые выстраивались в очередь на автобус, чтобы купить еду в городе. Их собственный урожай сгнил под дождем. В Магнитогорске, “стальном сердце” СССР, я видел, как шахтеры в рабочий перерыв сидели в поликлинике и поглощали “кислородные коктейли” – концентрированные напитки, насыщенные кислородом и витаминами. На Сахалине, острове к северу от Японии, я видел улов лосося – сотни тысяч рыб, которых можно было бы за огромные деньги продать в Гиндзе<sup>16</sup> или на Бродвее. Здесь они бились в сетях и гнили потом у берега, пока рыболовецкие суда ржавели в порту. Сахалин географически ближе к Голливуду, чем к Красной площади, но рыбаки, как объяснил мне местный чиновник, не могут ничего сделать “без телеграммы из Москвы”. Распоряжение из министерства пришло через неделю, после того как лосось всплыл брюхом вверх.

И все же государство держалось. Был, по крайней мере, хлеб, и были парады, которыми отмечали триумфы государственной стойкости. Даже в 1988 году Первомайский парад не слишком отличался от предыдущих. Я стоял в секторе для репортеров справа от Мавзолея Ленина и смотрел, как поднимаются на него советские лидеры: они как будто были слегка смущены, но явно радовались, что все на своих местах: портрет Ленина, написанный резкими штрихами, – на стене ГУМа; демонстрация “физической культуры” – силачи тягают гантели, а гимнасты прыгают через обручи; рабочие московских автозаводов несут транспаранты, выданные им с утра, и пьют водку, выставленную после окончания парада. Изменилась только музыка: зилловцы маршировали мимо трибун под несшиеся из кремлевских динамиков песни Пита Сигера<sup>17</sup>. Как писал советский византист Сергей Иванов, ком-

---

<sup>15</sup> Машиной Голдберга называют устройство, которое выполняет простые действия очень сложным способом. Названа по имени карикатуриста и изобретателя Руба Голдберга, который изображал такие машины.

<sup>16</sup> Торговый район Токио.

<sup>17</sup> Пит Сигер (1919–2014) – выдающийся американский фолк-певец. Придерживался коммунистических убеждений,

мунистические обряды напоминали византийский Константинополь: там редкие появления монарха “перед народом сопровождалось тщательно отрепетированными возгласами восторга; специально собранная толпа распевала официально одобренные песни”.

Это была страна Оз, самая долгоиграющая и грандиозная мировая ошибка; выносить ее жизнь можно было, лишь непрестанно упражняясь в иронии. Другого способа выжить не существовало. Даже самая кроткая на вид старушка, в платочке и домашнем халате, обладала такой способностью к иронии, от которой у любого абсурдиста из “Кафе де Флор”<sup>18</sup> просто мурашки бы побежали. Как-то я сидел в московском дворе и говорил с городским старожилом, замечательным дедом. Ему срочно требовалась помощь, а времена еще были такие, когда иностранец казался последним шансом на спасение – хоть от преследования КГБ, хоть от той беды, которая постигла этого старика: его жена умирала от лейкемии. Как попасть в клинику Мейо<sup>19</sup>? Он слышал, что там “прекрасные врачи”. Может, они смогут спасти его жену? Пока он говорил, я нечаянно поднял глаза и увидел, как женщина на десятом этаже вышвыривает из кухонного окна кошку.

– Скотина! – кричала она. – Нечего тебе тут делать! Пошла вон!

Кошка шмякнулась на асфальт – звук был мягкий, как будто лопнул шарик с водой. Мы оба, старик и я, смотрели на женщину в окне – ее лицо было перекошено от злобы – и на кошку, которая пыталась подняться на переломанные лапы.

– Эх, – вздохнул старик и отвернулся, – вот такая наша жизнь!

И улыбнулся – казалось, улыбается череп. Потом он продолжил разговор.

Лауреатом эпохи гниения был гений иронии и по совместительству алкоголик – Венедикт Ерофеев, “Веничка”. В 1970-х среди друзей Ерофеева ходил по рукам его шедевр – современные “Мертвые души”, поэма в прозе под названием “Москва – Петушки” (название железнодорожного маршрута между столицей и городом, где жили многие освободившиеся из лагерей). Книга Ерофеева – рассказ о путешествии или, вернее, блуждании, которое ведет лишь в глубины сердца человека, живущего при социализме. Главная отдушина этого человека – искусство питья. Он мастерский составитель коктейлей. Когда под рукой нет водки, то из лака для ногтей и лавандовой туалетной воды он готовит коктейль “Слеза комсомолки”: “выпьешь ее сто грамм, этой «слезы» – память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм – и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? И куда девалась вся твердая память?..” Но лучший его рецепт, “венец трудов”, – это коктейль “Сучий потрох”: “Пиво «жигулевское» – 100 г. Шампунь «Садко – богатый гость» – 30 г. Резоль для очистки волос от перхоти – 70 г. Средство от потливости ног – 30 г. Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых – 20 г”. Настоянный “«Сучий потрох» подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды, большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет”.

Ерофеев зарабатывал на жизнь где придется. На работах он долго не задерживался, но однажды дослужился до бригадира. У него в подчинении была небольшая бригада рабочих, которые укладывали (или делали вид, что укладывали) телефонный кабель в поселке Шереметьево, недалеко от Москвы. “. . . Мы делали вот как: один день играли в сику, другой – пили вермут, на третий день опять в сику, на четвертый – опять вермут. < . . . > И до времени все шло превосходно. Мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они нам жалованье два раза в месяц. Мы, например, пишем: по случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того,

---

неоднократно выступал в Советском Союзе.

<sup>18</sup> Известное парижское богемное кафе.

<sup>19</sup> Клиника в Рочестере (штат Миннесота), один из крупнейших в мире медицинских центров.

чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж какой там травматизм и заведения, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро! О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа – время от открытия и до закрытия магазинов! Отбросив стыд и дальние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью”.

Государство, разумеется, таких произведений не разрешало. “Москва – Петушки” были опубликованы в СССР только в 1988 году, и то – в журнале “Трезвость и культура”. Но и ерофеевской иронии государство не поняло, иначе его бы отправили за решетку или в ссылку. А так – пусть себе зубоскалит. По-настоящему государство не могло потерпеть вызов, лишенный иронии. Когда Брежнев отстранил Хрущева от власти, у государства еще были возможности уничтожить крупницы дозволенной свободы. Цензоры ходили по библиотекам с бритвами и удаляли из журнала “Новый мир” страницы с “Одним днем Ивана Денисовича” Солженицына. Затем из России был удален и сам Солженицын: прямо из тюремной камеры его отвезли в аэропорт, посадили на самолет и вывезли за границу. Государство не могло потерпеть презрения Солженицына, дерзости Бродского, превосходства Сахарова. Режим скорее был готов убить лучших граждан, чем уступить. Великолепная система жизнеобеспечения – миллионы агентов, осведомителей, милиционеров, надзирателей, адвокатов и судей, столпившихся у постели больного, – позволяла старому тирану дышать. Их бдительность была достойна восхищения.

“Можно сказать, что на каждого месье – свое досье, – сказал мне Бродский, когда я навестил его в нью-йоркской квартире. – Едва ты становишься хоть немного известен, на тебя открывают досье. В него попадает и то и се, а если ты писатель, то оно пухнет как на дрожжах. Такая неандертальская форма компьютеризации. Постепенно твое досье начинает занимать на полке слишком много места, и кто-то, просто зайдя в кабинет, говорит: «Большое досье. Пора брать»”.

Бродского взяли. На суде в Ленинграде он столкнулся с самим существом режима, с его особым языком.

Судья: А вообще какая ваша специальность?

Бродский: Поэт. Поэт-переводчик.

Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский: Никто. А кто причислил меня к роду человеческого?

Судья: А вы учились этому?

Бродский: Чему?

Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить Вуз, где готовят...

где учат...

Бродский: Я не думал, что это дается образованием.

Судья: А чем же?

Бродский: Я думаю, это... от Бога...

Перед тем как в 1972 году покинуть страну, Бродский по русской традиции написал письмо царю:

“Уважаемый Леонид Ильич... <...> Язык – вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятвы с трибуны. <...>...переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что я вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге”.

В письме Бродского, в манифестах Сахарова, во всех посланиях и творениях диссидентов слышалась нота безнадежности. Мысль о переменах, о том, что слово может сопротив-

латься государству, казалась мечтой, утопией, которая разве что могла пережить день и дотянуть до следующего утра. Перед самой высылкой Солженицын составил «Письмо вождям Советского Союза». «Ваше заветное желание, – писал он этим вождям, – чтобы наш государственный строй и идеологическая система не менялись и стояли вот так веками. Но так в истории не бывает. Каждая система или находит путь развития или падает». С этими словами Солженицын покинул родину.

В самый разгар антидиссидентской кампании Лидия Чуковская, написавшая повесть о времени террора, пока тщетно ждала возвращения мужа из лагеря, встала во время заседания Союза писателей и произнесла:

– Готова поручиться, что в столице нашей родины, безусловно, будут и площадь имени Александра Солженицына, и проспект имени академика Сахарова<sup>20</sup>.

“Безусловно, будут”! Кто мог в это поверить? Даже у самых смелых людей – а Чуковская к ним принадлежала – были сомнения. Когда я познакомился с ней, ей было уже за восемьдесят. Вместе с дочерью Еленой она жила на улице Горького. Елена открыла мне дверь и попросила подождать, пока Лидия Корнеевна сможет меня принять. В этом не было никакой царственной позы: ей просто было нужно собраться с силами. Елена провела меня в комнату. Лидия Корнеевна сидела у столика. На столике стоял чайник и две чашки с потрескавшимися блюдцами, тарелка с печеньем. Хозяйка уже взялась за ручку чайника.

Лидия Корнеевна чувствовала себя неважно. Ее большие светлые глаза слезились. Кожа на лице была тонкой, белой, как бумага; казалось, ее может раздражить легчайшее прикосновение. Как было принято в среде московской интеллигенции, на застекленных книжных полках стояли фотографии известных поэтов и писателей. Часто это бывало признаком тщеславного желания хозяев обозначить свою принадлежность к определенному кругу, свое место в нем. Но у Лидии Корнеевны не было и следа тщеславия. И никто не имел большего права на портреты Солженицына и Сахарова, чем она, рисковавшая всем, чтобы их защитить. Ее лишили возможности печататься. Вероятно, ей дали спокойно дожить свой век только благодаря почтенному возрасту и тому, что она была дочерью Корнея Чуковского, детского писателя, которого в России любят не меньше, чем доктора Сьюса в Америке.

Она немного рассказала о своих друзьях, о прогулках с Анной Ахматовой в Ленинграде, о своей любви к Сахарову. Ее речь была ясной и правильной, голос, хоть и слабый, казалось, струился. Вдруг во всем доме выключили свет. Был безлунный вечер, вся квартира погрузилась в темноту. Лидии Корнеевне это было почти незаметно: словно свернулся огонь в камине, слабо освещавший комнату. Она продолжала рассказывать. Через какое-то время она все же почувствовала, что что-то переменилось в самом воздухе – стало будто прохладнее и тише. Ее настроение тоже изменилось. Она сказала: “Знаете, вот мы говорим обо всех этих людях, и теперь-то известно, что всех их нет. Ужасно произносить такое, но представьте себе, что государство всеми силами уничтожало лучших из нас. Все они умерли или уехали”.

Помолчав немного, Лидия Корнеевна произнесла: “Света нет. Как странно!”

Елена внесла в комнату свечи. Мы еще немного побеседовали, затем Лидия Корнеевна сказала: “Боюсь, я устала”.

Уходя, я пересказал Елене кое-что из того, что говорила ее мать. Елена кивнула: она слышала это много раз.

– Но запомните, – сказала она мне на прощание, – даже у Лидии Корнеевны есть надежда. Она обожает одного молодого человека, Дмитрия Юрасова. Просто обожает. Постарайтесь с ним познакомиться.

---

<sup>20</sup> Проспект Академика Сахарова появился в Москве в 1990 году, улица Александра Солженицына – в 2008-м.

В 1987 и 1988 годах, пока весь мир ожидал новых инициатив Горбачева и разрешенных перемен в советской идеологии, самые смелые идеи о будущем гражданского общества высказывались в Москве, на утренних субботних собраниях. Поначалу небольшие группы молодых интеллигентов – “неформалы” – собирались на квартирах и даже печатали декларации на папиросной бумаге. Но спустя некоторое время в обсуждения включилось и старшее поколение. Сахаров вернулся из ссылки. Одной из постоянных площадок, где он мог публично высказаться, стала “Московская трибуна” – неформальный клуб ученых и литераторов, которые помнили атмосферу надежды, порожденную оттепелью.

Я познакомился с Дмитрием Юрасовым на одном из субботних заседаний “Московской трибуны” в Доме кино – здании Союза кинематографистов неподалеку от гостиницы “Пекин”. Эти заседания почти всегда проходили одинаково. Они начинались в десять-одиннадцать утра со вступительного слова какого-нибудь именитого участника. Им мог быть похожий на медведя Юрий Афанасьев, историк, приверженец Школы “Анналов”, ставший ректором Историко-архивного института<sup>21</sup>. Мог быть Юрий Карякин, журналист и специалист по творчеству Достоевского, едва не убивший себя алкоголем в брежневские годы; или Николай Шмелев, экономист и прозаик, в свое время женатый на внучке Хрущева; или Леонид Баткин, исследователь итальянского Возрождения – легкое вольнодумство и отказ вступить в партию закрыли ему дорогу в московские вузы; Галина Старовойтова, демограф, эксперт по Армении; Лен Карпинский, сын революционеров, журналист, который некогда считался “надеждой” Кремля, а затем обманул эти ожидания, чтобы стать, по его словам, “полудиссидентом”. И еще на этих заседаниях всегда бывал Сахаров. Он сидел в стороне, во время речей иногда дремал. Годы, проведенные в горьковской ссылке, разумеется, ослабили его, но когда подходила его очередь, он с готовностью поднимался на трибуну.

Юрасов сидел в задних рядах. Ему было 24 года; из всех собравшихся он был самым молодым. Независимого вида юноша в истрепанных джинсах и потертой куртке. Он был коротко стрижен и походил на армейского новобранца. Если кто-нибудь из выступавших говорил то, что ему было не по вкусу, он усмехался, словно копируя Джеймса Дина. Дмитрий – все называли его Димой – собирал информацию о людях, которых посадили в тюрьму или казнили при советской власти. Их имена он записывал на каталожные карточки. Таких карточек у него набралось около 200 000. Двести тысяч из десятков миллионов.

Заседания “Московской трибуны” никогда не имели формального завершения – спустя несколько часов они скорее истаявали, как дым. В тот раз было так же: самые заметные ораторы уже разошлись по домам, и даже Афанасьев, леворадикальный церемонимейстер, собирался уходить.

Я предложил подвести Юрасова.

– Одну секундочку, пожалуйста, – попросил он, когда мы вошли в его квартиру.

Я услышал, как он лихорадочно пытается навести в комнате порядок. Это было совершенно бесполезно. Комнатушка была завалена бумагами, на полу громоздились полутора-метровые кипы журналов. На стене висело несколько плакатов с рок-звездами и календарь с сексапильной бразильянской, которая выглядела так, будто только что выпила три коктейля без закуски.

– Сначала прочтите вот это, – сказал Дима.

Он дал мне пачку писем.

“Уважаемый Дмитрий Геннадьевич!

Мой отец, Афонин Тимофей Степанович, жил в селе Толмачево Новосибирской области. Насколько я помню, он был членом местной партячейки и председателем колхоза. В

---

<sup>21</sup> В 1991 году на базе Московского историко-архивного института был создан Российский государственный гуманитарный университет. Афанасьев оставался его ректором до 2003 года. Он умер в 2015 году.

1930 году вместе с односельчанами он было арестован НКВД и отправлен в Новосибирск. Согласно судебным документам, трибунал признал его виновным по статьям 58-8-10 и 73–1 Уголовного кодекса и приговорил к расстрелу. 13 февраля 1930 года приговор был приведен в исполнение...”

Таких писем у него в папках было много: люди, которым сейчас было уже за 40, 50, 60, рассказывали о своих пропавших родителях, приводили немногочисленные подробности их ареста, задавали вопросы.

Затем Дима дал мне прочитать короткую записку – свидетельство женщины, которая спрашивала его, не знает ли он что-нибудь о ее покойном отце:

“В своем каталоге Дима отыскал имя моего отца. Он назвал место его заключения и впоследствии смерти. Дима рассказал мне, что, по словам одного из людей, занимавшихся реабилитацией моего отца, он был библиотекарем. Не знаю, была ли это его должность в лагере или настоящая профессия. Но для меня это оказалось важно. Из безымянной серой массы вдруг выделился мой отец, отдельный человек. Не все же были библиотекарями! Отец! У меня есть отец!”

– Теперь, может быть, вы понимаете, чем я занимаюсь, – сказал Дима, забирая у меня письма.

Дмитрий Юрасов родился в 1964 году. В тот год кремлевские сторонники “жесткой линии” и сталинисты отправили в отставку Хрущева за “волюнтаризм”. По сравнению с Литвиновыми Юрасовы были самой обычной семьей. Жили в малогабаритной квартире на Ленинском проспекте; Димины родители были инженерами среднего звена. Они не читали самиздата и даже слыхом о нем не слыхали. Мама Димы, Людмила, в детстве распевала песни, посвященные Сталину (“Я маленькая девочка, танцую и пою. / Я Сталина не видела, но я его люблю”). В партию она вступила не из приверженности коммунистическим идеалам, а потому, что это было престижно и помогало продвижению по службе.

Как и всех советских школьников, как Павла Литвинова, Диму окружала не история, а мифология. С юных лет его воспитывали как “советского человека”. Это был вопрос государственной политики, и со смертью Сталина тут мало что изменилось. Михаил Сулов, брежневский идеолог и один из главных инициаторов устранения Хрущева, говорил: “Коммунистическая партия всегда исходила и исходит из того, что формирование нового человека – неперенная составляющая коммунистического строительства”. На первом курсе медицинского института, как говорили, студентам сообщали, что есть два вида человека: *Homo sapiens* и *Homo soveticus*. В школе Дима, безусловно, принадлежал ко второму виду. Он учился читать по букварю, в котором вместо Дика и Джейн<sup>22</sup> фигурировал дедушка Ленин. Уроки истории выглядели как монотонное прославление побед – начиная с революции и заканчивая рекордными урожаями в Черноземье. Летом Дима ездил в пионерские лагеря, где детям прививали начатки военной дисциплины и внушали мысль о примате общественного над частным.

Но у Димы Юрасова был молодой ум, который простодушно сопротивлялся догмам. Уже в пятом и шестом классе он постоянно читал 16-томную советскую историческую энциклопедию, написанную партийными историками и идеологами и проверенную цензорами на всех уровнях. В ней были одобренные статьи о революции, Гражданской войне, Великой Отечественной войне. Все это была не история, а давно заместившая ее псевдо-теология. Изредка в текстах попадались следы хрущевской оттепели. Выяснилось, что цензоры были не в состоянии отловить все. Однажды 11-летний Дима прочитал в энциклопедии об ученом, который был “незаконно репрессирован и реабилитирован посмертно”. Никогда

---

<sup>22</sup> Персонажи популярных американских учебников чтения Уильяма Грэя и Зенны Шарп.

раньше Дима не читал ничего подобного. Для него это предложение звучало все равно что на бирманском языке.

Дима спросил у матери, что это значит. Она быстро сменила тему. Прошло уже 20 лет с выступления Хрущева с секретным докладом о преступлениях сталинской эпохи, но атмосфера неосталинизма была настолько ощутима, что даже в продвинутой Москве обычные люди были не готовы обсуждать с детьми кошмары прошлого. Они и сами мало об этом знали. Речь Хрущева не была опубликована в Советском Союзе, а большую часть литературы, вышедшей в период оттепели, конфисковали из библиотек.

Так Диме пришлось учить историю самостоятельно. Он медленно продирался сквозь тома “Советской исторической энциклопедии” и выписывал имена генералов, политиков, деятелей искусства, умерших в 1937, 1938, 1939, 1940 годах – во время Большого террора. Причина смерти почти никогда не указывалась. Для каждого имени Дима завел каталожную карточку. В карточки он заносил самую общую информацию. Это была игра, загадка. “Что-то вроде собирания марок, – говорил он мне. – Детям, когда они находят марку из Йемена или Судана, кажется, что они побывали там. Тут тоже было чувство причастности к чему-то, о чем я имел самое смутное понятие. И, что самое странное, я не мог ни с кем об этом говорить”.

В школе Дима по-прежнему хорошо учился. Он успевал по истории – в том виде, в каком ее преподавали. Он легко мог пересказать мифологию своей страны. Он был послушным, учителя хвалили его за хорошую память. Но по вечерам и по выходным он заполнял свои карточки именами пропавших людей. Он пока не понимал, что делать со всей этой непонятной информацией, но каталог исчезнувших рос.

“А потом случился прорыв, – рассказывал Дима. – В восьмом классе я прочитал в газетах протокол XXII съезда партии”. На том съезде Хрущев снова, более внятно и конкретно, разоблачал сталинский террор. “И вот после этого все поменялось. Это перестало быть игрой. Поначалу были просто какие-то имена, которые в некий момент переставали упоминаться. А теперь речь стала идти о жизнях. Я стал лучше понимать, что с этими людьми произошло”.

В старших классах Дима принял участие в олимпиаде по истории – межшкольном конкурсе, который курировала комсомольская организация. “Было множество вопросов вроде: «Кто был первым мальчиком, вступившим в комсомол?», «Сколько он завоевал медалей и наград?» – и тому подобное. Но были вопросы и глубже. Я твердо решил победить”. Он отправился готовиться в Центральный государственный архив Октябрьской революции. Там Дима пошел к одной из заведующих и задал ей несколько вопросов по темам олимпиады. Кроме того, он показал свои карточки: их накопилось уже несколько сотен. Он надеялся получить какие-нибудь ответы.

– Что ты хочешь узнать? – спросила заведующая.

– Я хочу узнать, были эти люди “репрессированы” или убиты, – сказал Дима.

Женщина опустила глаза и почти перешла на шепот.

– Мы обсудим вопросы про комсомол, – сказала она, – а об этих людях говорить не будем. Это не нужно.

Женщине было за 40, и ни в ее словах, ни в тоне не было жестких нот. Диме показалось, что ей было известно только одно: эти темы под запретом, говорить о них нельзя. Она была явно испугана.

В семнадцатилетнем возрасте Дима решил поступить на работу и учебу в Историко-архивный институт. Мать это решение удивило: она не понимала, почему он не попробует поступить в какое-нибудь место попрестижнее. Дима в общем ничего объяснять не стал. Свое увлечение он хорошо скрывал – не потому, что ему нравились секреты, а потому, что он подросток: он понимал, что его занятия могут навлечь беду на близких людей.

Чтобы поступить в институт, нужно было сдать вступительный экзамен. Около этого времени Дима прочитал в самиздате эссе Солженицына “Жить не по лжи”. В нем говорилось о том, что прямое восстание в тоталитарном государстве подготовить трудно или даже невозможно. Вместо этого читателю предлагалось отказаться от участия в государственной лжи. Лучше не быть журналистом, чем печатать ложь в “Правде”. Лучше вовсе не преподавать историю, чем читать детям “Краткий курс”. Если не можешь спасти мир – сохрани себя.

Но на вступительном экзамене Дима должен был написать сочинение по лживой автобиографии Леонида Брежнева “Малая земля”. Эта книга описывала героические подвиги, которых на самом деле Брежнев не совершал. Он даже не сам написал эту книгу – что не помешало ему наградить себя Ленинской премией по литературе (это как если бы Рональд Рейган присудил себе Пулитцеровскую премию за книгу, сочиненную кем-то другим). “Что сказать? – резюмировал Дима. – Я стал еще одним советским гражданином, который оказался перед выбором и не сохранил свое достоинство. И знаете? Я получил высший балл. Замечательно”.

По должности Дима занимался в основном канцелярской работой: приводил в порядок ящики с документами, подсчитывал страницы, сортировал папки. Но для него это был рай. Он сидел один в запертой комнате, и у него хватало времени на то, чтобы прочесывать секретные документы и заносить как можно больше информации на свои карточки. Однажды, когда все его коллеги по отделу пошли получать зарплату, Дима остался и принялся просматривать документы НКВД за 1935 год. Он все еще с дрожью вспоминал эти ужасающие бумаги: одна казнь за другой.

“Иногда меня посылали в подвал за каким-нибудь документом. Пять минут у меня уходило, чтобы его найти, и двадцать – чтобы скопировать. Я старался копировать по сто документов в день. Очень скоро мне стало ясно, что «Большая историческая энциклопедия» – это многотомник лжи. Документы свидетельствовали, что людей пытали, им прижигали сигаретами язык, заставляли по 60 часов стоять напротив стены. Заключенных так жестоко избивали, что на расстрел их приходилось нести. Есть свидетельства о том, как театрального режиссера Мейерхольда заставляли пить собственную мочу, как следователи сломали ему левую руку и заставили подписать «признание» правой. Помню свой шок, когда я прочитал про расстрел в Дмитровлаге 208 человек, обвиненных в подготовке покушения на Ежова, который приехал в лагерь с инспекцией. Там были женщины, старики. То, что я узнавал, было сплошным кошмаром: мне казалось, будто я попал в страшную лавину, которая никак не остановится. Но выводов я не делал. Я не мог увязать все это с идеологией, политикой. Я занимался простым накоплением информации о каждом конкретном человеке, и все”.

Рай для Димы закончился, когда его призвали в армию. Но даже во время двухлетней службы он продолжал свои изыскания. Он даже начал писать роман “Братья Кагановичи”. В его основу лег известный случай из жизни Лазаря Кагановича. Однажды Сталин сообщил ему, что есть показания на его старшего брата Михаила, возглавлявшего тогда оборонную промышленность. Лазарь Моисеевич не колеблясь сказал: “Пусть судят, как полагается по закону”. Михаила Кагановича арестовали. Он покончил с собой в тюремной камере<sup>23</sup>.

По вечерам Дима читал рукопись “Братьев Кагановичей” солдатам-срочникам. Через несколько дней рукопись пропала из его тумбочки: ее конфисковали офицеры. Наутро Диму

---

<sup>23</sup> Ситуация с самоубийством Михаила Кагановича, произошедшим, по официальным данным, 1 июля 1941 года, остается не вполне проясненной. М. Каганович был наркомом оборонной промышленности до января 1939 года, с января 1939-го по январь 1940-го был наркомом авиационной промышленности, затем его сняли с должности и назначили директором авиационного завода им. Орджоникидзе. Неясно, где именно произошло самоубийство – в Кремле или на Лубянке, – но в тюремную камеру М. Каганович помещен не был. О том, что Лазарь Каганович не защищал своего брата, вспоминал Н. С. Хрущев. В конце 1980-х в беседах с журналистом Феликсом Чуевым Л. Каганович утверждал, что активно защищал брата и заявлял Сталину, что возведенные на него обвинения – ложь.

обвинили в “оскорблении советской власти”. По словам офицеров, Диме грозили суд и тюрьма. Неважно, что уже больше десяти лет Каганович не находился у власти: бывший сталинский нарком был смещен Хрущевым и сослан в провинцию руководить асбестовым заводом. Неважно, что история о двух братьях была основана на фактах. Эти факты молодому солдату вроде рядового Юрасова знать было не положено. Для него они не являлись фактами. Офицеры сказали, что единственный выход для Димы – написать письмо с признанием своей вины и просить прощения. Со времен Большого террора советская система сохраняла страсть к покаяниям. Дима написал требуемое письмо и радовался, что так легко отделался.

В Москве вновь устроиться в архив было трудно. Начальство Историко-архивного института не обвиняло Диму ни в каких прегрешениях, но что-то подозревало. Дима понимал, что не сможет вернуться туда и снова работать в спецхране – в архиве, для которого нужен особый доступ. Друзья сказали, что есть вакансии в архиве Верховного суда. Каким-то образом – вероятно, потому, что органы в действительности не были так вездесущи, как казалось, – Дима получил эту работу. Это была сокровищница, здесь была собрана информация, доступная только высокопоставленным чиновникам – и архивистам. В подвалах Верховного суда хранились документы о двух с половиной миллионах судебных дел начиная с 1924 года. К большинству из них после сдачи в архив никто не прикасался.

“Это был то, что мне нужно! – вспоминает Дима. – Документы содержали свидетельства о смерти и жизни всех тех людей!”

Большую часть времени Дима работал в комнате, в которой все было устроено словно нарочно, чтобы мешать его занятиям. В небольшом кабинете четыре стола стояли напротив друг друга. Любые действия Димы были видны троим его коллегам. Но он не отступался. Через полтора года у него уже было 100 000 карточек. Он выработал стандартную форму:

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Год рождения  
Год смерти  
Национальность  
Партийная принадлежность  
Социальное происхождение  
Образование  
Последнее место работы и должность перед арестом  
Детали ареста, репрессий  
Реабилитация

А потом архивные *стукачи* добрались до Димы. Один из начальников нашел в его столе списки репрессированных. Произвели обыск. Во второй раз Диминым поискам утраченных имен настал конец. Его уволили.

## Глава 4

### Возвращение истории

Диме было из-за чего беспокоиться. Новое советское руководство не обнаруживало особого стремления к переменам.

В марте 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Горбачев. Два месяца спустя он произнес речь по случаю сороковой годовщины победы над нацистской Германией. Он сказал: “Гигантской работой на фронте и в тылу руководила партия, ее Центральный комитет, Государственный комитет обороны во главе с Генеральным секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Виссарионовичем Сталиным”. Члены ЦК при этих словах встали и начали аплодировать. В феврале 1986 года Горбачев в интервью французской газете *L’Humanité* сказал, что “понятие «сталинизм» изобретено противниками коммунизма и широко используется для очернения Советского Союза и социализма в целом”. Партия, заверил Горбачев *L’Humanité*, уже сделала правильные выводы из прошлого. Наконец, на встрече с советскими писателями в июне 1986-го Горбачев произнес: “Если мы станем копать в прошлом, мы растеряем всю нашу энергию. Это все равно что бить людей по головам. А нам надо идти вперед. Мы разберемся с прошлым. Мы все расставим по своим местам. Но сейчас мы должны направить нашу энергию вперед”.

Партийные чиновники на местах явно не были готовы к раскрытию прошлого, что бы ни думал сам Горбачев. В середине 1987 года первый секретарь обкома КПСС в Магадане – городе, откуда когда-то начинался путь в страшные колымские лагеря, – заявил группе западных журналистов, что вопрос о сталинских чистках “для нас здесь не стоит. Нет такого вопроса”.

“Мы пережили этот период, эта страница истории перевернута, – сказал первый секретарь обкома Александр Богданов. – Ни к чему постоянно говорить об этом”. При этом только на Колыме погибло почти три миллиона человек.

Карьера Горбачева складывалась в среде партийной бюрократии, он отдавал себе отчет, что утрата поддержки таких “динозавров”, как Богданов, не говоря уж об “ископаемых” из ЦК, КГБ, армейских кругов и МВД, немедленно положит конец его руководству. Спустя годы либеральный мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак писал: “Тоталитарная система оставляет после себя минное поле, как в социальных структурах, так и в психологии граждан. Мины срабатывают всякий раз, когда возникает угроза демонтажа системы и подлинного обновления страны”.

Горбачеву, хотел он того или нет, пришлось стать хранителем тайн и главным куратором криминальной партийной истории. Советский режим, с его жестокостью и тоталитарными методами, оставил после себя десятки миллионов трупов и уродливое общественное устройство. Но также режим употребил всю свою государственную мощь, все подвластные ему институты, от детских садов до тайной полиции, чтобы ни у кого не могло возникнуть вопросов по поводу советской истории. Сталин не был первым руководителем, насаждавшим мифы, но был наиболее успешным. По словам историка Уолтера Лакера, современной историографии, требующей достоверных свидетельств, нет еще и 200 лет. Возможно, самой ранней попыткой составления официальной истории государства по приказу диктатора является работа верховных жрецов империи инков (*Pariscop Villas*). Российский император Николай I не только подавил восстание декабристов, но и пытался довольно успешно изымать упоминание об этом покушении на власть из исторических сочинений.

Сталин, продолживший традицию манипулирования памятью, довел метод до совершенства. В первое десятилетие после Октябрьской революции еще кое-как существовали разные исторические направления, еще были возможны дискуссии между ортодоксальными

марксистами и их “буржуазными” оппонентами. Все это закончилось во время первой – и последней – Всесоюзной конференции историков-марксистов в 1928 году, тогда же, когда Сталин стал очевидным лидером большевистского государства. Конференция продемонстрировала, что сосредоточение власти в руках Сталина позволило ему также установить полный контроль и над историей. В 1934 году Центральный комитет ВКП(б) издал постановление, призвавшее к тому, чтобы изложение истории в учебниках, преподавание в школах, университетах и институтах строго соответствовало государственной идеологии. Сталин лично следил за составлением и изданием (пятидесятиmillionным тиражом) знаменитого “Краткого курса истории ВКП(б)”, агрессивного-идеологического трактата, который, по словам историка Генриха Иоффе, “точно молотком, вколачивал гвозди лжи в мозг каждого школьника и каждой школьницы”. “Краткий курс” был учебником, излагавшим историю детерминистически: все события неизбежно и неотвратно вели к триумфальному выводу о справедливости и мощи существующего строя. В таком изложении не могло быть места для рассказа о внутренней борьбе, неопределенности, выборе, об абсурде и трагедии. У Большой Лжи всегда безукоризненная внутренняя логика. Оппоненты выставляются врагами государства, их истребление оказывается необходимостью. Все ясно, все выражено языком мифов и расцвечено эпитетами. Соперники Сталина в борьбе за власть – Бухарин, Троцкий и прочие – представлены как “белогвардейские пигмеи, силу которых можно было бы приравнять всего лишь силе ничтожной козявки”. В таком виде историю – единственную ее версию – преподносили гражданам. И в этих пределах предписывалось народу осмыслять себя. Усомниться в догмах, изложенных в учебнике, или попытаться опровергнуть их было равносильно признанию вины в уголовном преступлении.

Когда в 1953 году Сталин умер, а Хрущев начал разоблачать культ личности, “Краткий курс” перестал быть догматическим руководством. Появился новый текст – подправленная “История Коммунистической партии Советского Союза”, где титаническая роль Сталина, которую он отвел сам себе, несколько сокращалась. Некоторые историки, воспользовавшись оттепелью, даже открыто заговорили о тех преступлениях, которые Хрущев лишь упомянул. Так было подготовлено новаторское исследование Виктора Данилова о коллективизации.

Однако когда в 1964 году Брежнев сместил Хрущева и постепенно стал разворачиваться в сторону неосталинизма, серый кардинал от идеологии Михаил Суслов обратил внимание на историческую дисциплину. Маятник опять качнулся в сторону единственно верного учения. Брежнев и Суслов назначили партийного историка-аппаратчика Сергея Трапезникова заведующим Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС. Теоретически это означало, что он отвечал за каждый учебник и за каждый урок истории на всем пространстве страны, от Эстонии до Сахалина. Подчищая следы оттепели в исторической науке, Трапезников запретил публикацию даниловской работы о коллективизации. В духе истинного сталинизма он считал коллективизацию мерой необходимой и справедливой. Для ее прославления, по его мнению, требовался ответственный историк, и на его роль Трапезников назначил себя.

Партия настолько плотно контролировала историческую науку, что авторами едва ли не всех сколько-нибудь значительных работ по истории, написанных в Советском Союзе, были диссиденты: Рой Медведев с марксистским опусом “К суду истории”, Михаил Гефтер со своими эссе о сталинизме и Александр Солженицын с главным “опытом художественного исследования” – “Архипелагом ГУЛАГ”. Медведев и Гефтер, невзирая на всю их преданность идеям революции и Ленина, были отеснены на периферию и занимали маргинальное положение в советском обществе. КГБ вел за ними постоянную слежку. Брежневская кампания по возвращению Сталину хотя бы части утраченного величия не могла терпеть отступников. А вот прегрешения Солженицына были куда серьезнее. Он показал изначальную нелегитимность государственного строя и всех советских вождей, в том числе Ленина.

Мириться с этим режим не мог. В 1974 году Солженицын стал первым со времен высылки Троцкого советским гражданином, принудительно выдворенным из страны.

Репрессии против диссидентов, писателей и ученых были лишь малой частью деятельности госаппарата, контролировавшего историческую науку. Трапезников следил за тем, чтобы в Академии наук, Институте истории, Институте марксизма-ленинизма, университетах, журналах, школах не осталось “инакомыслящих”. Прибалты, узбеки, украинцы не смели даже заикаться о том, что их история и культура в чем-то отличны от русской и советской. Это могло поколебать миф об общей советской судьбе, о советском человеке. Для каждой взрывоопасной темы – от разгона Лениным после Февральской революции демократически избранного Учредительного собрания и до вторжения в Чехословакию в 1968-м – требовался набор выдумок и терминов новояза, чтобы исключить даже малейшую возможность обсуждения или “инакомыслия”. Например, о вторжении в Афганистан историки писали как о выполнении “интернационального долга”, помощи в ответ на “просьбу” “братского народа” или не писали об этом вовсе.

“Профессионально заниматься советской историей было немыслимо, – говорит византист Сергей Иванов. – Всякий, кто неподдельно интересовался историей, старался держаться от советского периода подальше. Единственными намеками на критику в исторических сочинениях были аналогии: историки задействовали подтекст”. Неудивительно, что позднее активнейшим сторонником радикальной реформы в исследовании истории СССР стал Юрий Афанасьев, который хотя и слишком хорошо разбирался в политике партии, специализировался все же на истории Франции.

В Москве жило много исследователей истории советского периода: не только Медведев, Гефтер и Афанасьев, но и профессиональные идеологи, циники и лжецы. Однажды я провел незабываемый вечер в Московском университете с деканом исторического факультета Юрием Кукушкиным. Кукушкин, один из самых известных сервильных историков, имевший тесные связи с ЦК и закрытый для других доступ к западным книгам и советским архивам, старательно уверял меня, что “не имел никакого понятия” о том, как “дорого” обошлась стране сталинская коллективизация. Его интонация и манера взывали к сочувствию, как будто и он был диссидентом в душе.

“Боюсь, я даже не могу передать всего, что чувствую, – говорил Кукушкин. – Прежде всего горечь. Если бы один человек был в силах все объять! Если бы у нас был доступ к документам! Мы работали, как химики, которым нужно совершить открытие, найти лекарство от болезни, но которые могут пользоваться только теми препаратами, которые выдает заведующий лабораторией. Я в самом деле не знаю никого, кому были бы известны реальные факты и кто их сознательно искажал”.

Несмотря на свое добронравное стремление к справедливости, Кукушкин по-прежнему хотел осуществлять контроль: по его мнению, историей должны были заниматься “правильные люди”. “Безусловно, в наших исследованиях нужно сохранять баланс, а сейчас мы просто льем помой на лысую голову Ленина, – говорил он. – Уверен, наше государство это переживет. Переживет и Ленин. Но если народ не верит в будущее и видит в своем прошлом только темные стороны, он впадает в состояние духовной дистрофии, и вот это мы вряд ли сумеем вылечить. Чтобы вдохнуть в людей веру, мы должны показывать не только грязь, преступления, кровь нашей истории, но и то, чем можно по праву гордиться. Мы великая, могучая страна. Мы победили иностранных захватчиков. Мы должны этим гордиться. Как человек и профессиональный историк я беспокоюсь о том, чтобы мы не уничтожили себя духовно”.

По милости Трапезникова академии и университеты были заполнены бесчисленными кукушкиными. Но были там и такие, как Генрих Иоффе, которые считали себя в общем честными людьми, хотя понимали, что система достаточно сильна, чтобы обесмыслить их сла-

бые попытки подорвать ее или провести. Иоффе, автору книг о Февральской революции и династии Романовых, когда я с ним встретился, было немногим за 60. “Я по молодости не попал в самую страшную волну сталинских репрессий против историков”, – сказал он. Но стандартное сталинистское образование он получил – бесконечное штудирование “Краткого курса” под руководством запуганных и невежественных преподавателей.

“Таков был наш мир, система, в которой мы жили, – сказал он мне однажды. – После войны случилась небольшая эйфория, небольшая оттепель, но уже в 1949-м, 1950-м меня обвиняли в том, что я «поклоняюсь буржуазной идеологии». Бог знает, что это значило. Выяснилось, что двое моих друзей – друзей! – стащили у меня тетрадки. А я там, сидя на какой-то лекции, написал на полях: «Они нас, вероятно, считают идиотами, если думают, что мы в это верим». Всего лишь. Ну такой минутный порыв, разочарование и сомнение. Потом, когда хватился тетрадей и не смог их найти, решил, что посеял где-то. В общем, не придавал этому особого значения. А в следующий раз увидел их, когда меня вызвали на общее собрание и я стоял перед сотней человек, студентов и товарищей по университету, членов комитета комсомола ну и всех прочих. Мои так называемые друзья почему-то держались от меня подальше, пока мы еще были в коридоре. А потом секретарь парткома с трибуны показал на меня пальцем и закричал: «Помогите, кто сидит здесь среди нас! Иоффе! Он считает вас всех идиотами!»”.

Иоффе сравнительно легко отделался. Его отправили в провинцию, в Костромскую область, где он преподавал до смерти Сталина.

Вернувшись в Москву, Иоффе устроился на работу в Библиотеку имени Ленина и стал собирать материал для своих книг. “Можно было прибегать к некоторым уловкам, чтобы чувствовать себя относительно честным, – вспоминает он. – Например, процитировать зарубежный источник, но потом, конечно, заклеить «буржуазных фальсификаторов». Я и теперь не уверен, что стыжусь этого. Мне удалось собрать большой материал по Февральской революции. Может быть, кто-то из читателей благодаря мне понял, что Февральская революция была не только прологом Октябрьской. Если мне повезло, они, может быть, смогли понять, что в этот момент, после свержения монархии, в России возник намек на демократию, пусть и слабый. Но я в этом сомневаюсь. К сожалению, я слишком часто шел на компромисс, и сейчас думать об этом мучительно. Я не знаю, был ли мой жизненный путь всегда результатом осознанного выбора. Думаю, что я таков по природе. Я человек компромисса, не максималист. Я немолод, и жить в эпоху слома, справляться с потоком информации – не так легко. Иногда я чувствую вину за то, что так быстро изменил свои взгляды на историю. Но могло ли быть иначе? Как можно не понимать, что к чему? Неужели я должен ради дурацкой последовательности игнорировать факты? Я помню историка Эдуарда Бурджалова, возможно, главного либерала в советской историографии после хрущевских разоблачений 1956 года. До этого Бурджалов был правоверным сталинистом, редактором «Культуры и жизни». Громил евреев, так называемых космополитов. Я спросил его: «Как же случилось, что вы, сталинист, партийный карьерист, так быстро развернулись в другую сторону?» Он поначалу не мог ответить. Но затем сказал: «Если у человека появляется возможность наконец высказаться, сказать правду, зачем ее упускать?»”.

Первый раз возвращение истории началось в 1956 году с “секретного доклада” Хрущева, разоблачившего Сталина. Но у оттепели были строгие рамки, и процесс оказался обратимым. Без полной и взвешенной оценки прошлого, так чтобы этого джина уже невозможно было загнать обратно в бутылку, настоящая реформа, а тем более демократическая революция были невозможны. Дмитрий Юрасов и его друзья-демократы это знали, знал и Горбачев. Возвращение истории в интеллектуальную и политическую жизнь Советского Союза заложило основы для громадных перемен.

В 1987 году Горбачев после двух лет колебаний и обтекаемых формулировок решил наконец продолжить начатое Хрущевым. Он распахнул дверь в историю – сначала с помощью кинофильма, а затем произнес речь, приуроченную к 70-летию Октябрьской революции.

Тенгиз Абуладзе, невысокий элегантный мужчина с внимательными глазами, жил и снимал фильмы в столице Грузии – Тбилиси. К 1980 году у него уже была репутация интеллектуального режиссера, автора двух кинопритч – “Мольбы” (1968) и “Древа желания” (1977). Скрупулезный и в бытовых мелочах, и в работе он годами размышлял и писал, позволяя идеям вызреть, прежде чем снимал хоть один кадр.

В отличие от захламленных тесных квартир большинства московских интеллигентов, просторный тбилисский дом Абуладзе был приспособлен, по его словам, “чтобы жить и дышать”. За обедом с грузинским красным (“любимое вино Сталина!”) и хачапури (местный вариант пиццы) Абуладзе рассказывал, как решил снять “Покаяние”, фильм о наследии зла и о нравственной необходимости для народа и для отдельного человека смотреть в лицо прошлому. Хотя главными рупорами гласности были телевидение и пресса, фильм Абуладзе проторил дорогу для восстановления исторической памяти. “Покаяние” потрясло зрителя, подействовав сильнее, чем все другие произведения того времени – исторические пьесы Михаила Шатрова, романы Анатолия Рыбакова и Владимира Дудинцева. Воздействие “Покаяния”, показанного по всей стране в 1987 и 1988 годах, можно сравнить разве что с ленинским агитпропом – поездами, развозившими по городам и весям передвижные киноустановки для показа пропагандистских лент, прославлявших большевистскую революцию. Как художник и теоретик Абуладзе, быть может, и уступал таким великим режиссерам раннего советского периода, как Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов и Александр Довженко. Но политический резонанс сделал “Покаяние” наиболее важным произведением протестного искусства в стране со времен “Одного дня Ивана Денисовича”, опубликованного в разгар хрущевской оттепели.

За материалом для вдохновения Абуладзе не нужно было далеко ходить. “Вдохновила меня подлинная история, случившаяся в одной деревне на западе Грузии, – говорит он. – Человека, несправедливо посаженного в тюрьму, наконец освободили. Вся его жизнь была сломана, разрушена. Вернувшись домой, он отыскал могилу того человека, который отправил его за решетку. Ночью он отправился на кладбище и выкопал гроб. Он вскрыл его, вытащил труп и прислонил к стене. Так он осуществил возмездие. Он не хотел позволить мертвецу спать спокойно. Этот ужасный поступок подсказал нам решение: использовать его, чтобы показать трагедию целой эпохи. Из этого выросла заявка, а затем и сценарий”.

Абуладзе вместе с невесткой Наной Джанелидзе написал восемнадцатистраничный синопсис к фильму, а в 1981 году – сценарий. Это была история о среднестатистическом диктаторе, тиране по имени Варлам, уничтожающем одного человека за другим. Время действия отсылало к концу сталинских 1930-х. Варлам, местный городской глава, обещает своим подданным построить “рай на земле”, но, вполне равнодушный к человеческой жизни, он в припадках паранойи губит их. В старости он даже пытается застрелить солнце из пистолета.

“Народу нужна Великая действительность!” – провозглашает Варлам, вторя извращенным патерналистским идеям Ленина и Сталина. Позднее, оправдывая свою паранойю, он говорит: “Из каждых трех человек четверо – враги. Не удивляйтесь! Один враг по количеству больше, чем один друг”.

Жестокий Варлам в какой-то момент как будто становится другом художника по имени Сандро Баратели, но затем отправляет его на смерть в лагерь, обвинив в “индивидуализме” и связях с “поэтами-анархистами”. Дочь Сандро, которую многие десятилетия не отпускает память о мученической кончине отца, уподобленной смерти Христа, в конце концов раска-

пывает могилу Варлама и прислоняет его труп к стене. Она не собирается ничего забывать – и не позволит забыть другим.

Фильм, полный аллегорий и гротескных приемов в духе Феллини, говорит о потребности в памяти, о том, что нужно не только бороться с тиранией в настоящем, но и разбираться с безумием в прошлом. Сын Варлама Авель немногим лучше своего отца. Он ни на что не может решиться и повторяет грехи отца. У него нет ни совести, ни памяти. Он отдает под суд дочь Сандро Кети, которая каждый день, снова и снова раскапывала могилу тирана.

Торнике, сын Авеля, не может принять ту жизнь, которая ему досталась по наследству. Он бунтует против отца. В самой, вероятно, важной сцене фильма Торнике противопоставляет Авелю; это столкновение прочитывается не только как конфликт поколений, но и как личный протест человека против власти, борьба памяти с забвением.

– Ты знал все это? – спрашивает Торнике у отца.

– Что? – переспрашивает Авель.

– О дедушке.

– Твой дед ничего плохого не делал. Тогда было сложное время. Теперь трудно это объяснить.

– При чем тут время?

– Притом! – вскипает Авель. – Была другая обстановка. Решался вопрос, быть или не быть. Нас окружали враги. Они боролись с нами. По-твоему, мы должны были врагов по голове гладить?

– Разве Баратели был враг? – спрашивает юноша.

– Был. Художник он, может, был хороший, но многого не понимал. Я не говорю, что у нас не было ошибок. Но что значит жизнь одного, когда дело касается счастья миллионов? Перед нами стояли большие задачи. Об этом надо помнить и смотреть на вещи шире.

– К человеческим судьбам вы подходили с арифметической меркой. Главное пропорции, да? – с отвращением произносит молодой человек.

– Нечего иронизировать, умник! – отвечает Авель. – Пора знать, что для должностного лица общественные интересы всегда выше частных соображений.

Презрение Торнике к отцу растет.

– Человек рождается человеком, потом становится должностным лицом, – говорит он.

– Ты в облаках витаешь, а в действительности все не так, – возражает Авель. – Варлам всегда руководствовался интересами общества. Но порой действовал не по своей воле.

– Скажи, а если бы дедушке приказали уничтожить мир, он бы уничтожил? – спрашивает сын.

В конце фильма Торнике в отчаянии стреляется.

Шел 1981 год. Брежнев был генеральным секретарем, а Эдуард Шеварднадзе – самым могущественным человеком в Грузии. Абуладзе принес ему сценарий. «Шеварднадзе прочитал сценарий и сказал, что нужно найти способ снять этот фильм, – вспоминает Абуладзе. – Он сказал мне: «1937-й побывал и в моем доме». Он был свидетелем всего. У него тоже отца арестовали. И я тоже помню то время. Я тогда был ребенком, деталей, конечно, не запомнил, а вот ощущение, чувство страха помню. Мой отец был врачом, и он всегда держал наготове чемодан с вещами. Он не имел к политике никакого отношения, но знал, что в любое время в дверь могут постучать. Человека забирали, и он больше не возвращался. В общем, Шеварднадзе сказал, что нужно обязательно найти какой-то способ, чтобы высказаться на эту тему. И сказал, что получать разрешение все равно придется из Москвы. Мы отправились к Резо Чхеидзе, директору киностудии. Он сказал Шеварднадзе, что существуют разные разнарядки для республиканского кино и для всесоюзного. Для фильмов республиканского уровня достаточно указать тему и имя режиссера. И мы послали телеграмму: «Режиссер

Тенгиз Абуладзе хочет снять фильм о морально-этической проблеме». И все. Москва дала добро с комментарием, что тема «звучит интересно». Затем Шеварднадзе дал нам хороший совет. Он сказал: «Чем обобщеннее будете делать фильм, тем лучше». В каком-то смысле он стал нашим соавтором».

Абуладзе предусмотрительно не стал делать из Варлама копию Сталина. Варлам, которого сыграл блестящий грузинский актер Автандил Махарадзе, носил гитлеровские усики и пенсне, немедленно отсылавшее к главе госбезопасности Лаврентию Берию. Чтобы раздвинуть временные рамки, Абуладзе одел стражников Варлама в средневековые доспехи. Наконец, он дал Варламу фамилию Аравидзе – это напоминает полуанонимного К. у Кафки. Грузинской фамилии Аравидзе не существует, а корень “аравин” означает “никто”.

“Мы хотели, чтобы даже фамилия Варлама указывала на то, что он – некое воплощение тоталитаризма, диктатор, могущий появиться в любую эпоху в любой стране, – объясняет Абуладзе. – В нем соединены они все: конечно, Сталин, но и Хрущев, и Ленин. Один мой друг незадолго до смерти Молотова встретился с ним и сказал: «Как жаль, что Ленин так рано умер! Если бы он прожил дольше, все было бы нормально». Молотов ответил: «Почему вы так думаете?» Мой друг сказал: «Потому что Сталин был кровопийцей, а Ленин – благородным человеком». Молотов улыбнулся, а потом ответил: «По сравнению с Лениным Сталин – просто агнец»”.

Абуладзе снял фильм в 1984 году, за пять месяцев. У власти находился брежневский протеже Константин Черненко, и фильм просто лег на полку, вместе с работами десятков других режиссеров.

В 1985 году, вскоре после смерти Черненко и прихода к власти Горбачева, старый друг Абуладзе Эдуард Шеварднадзе стал членом политбюро. У “Покаяния” появился шанс. Весной 1986-го Абуладзе позвонил Шеварднадзе в Москву и спросил, не может ли тот воспользоваться своей близостью к Горбачеву, чтобы получить разрешение на показ фильма в мае на кинофестивале. Шеварднадзе из-за чувства вины или долга встретился с Горбачевым.

“Я в долгу перед многими у себя на родине и вряд ли сейчас смогу со всеми расплатиться, – сказал Шеварднадзе Горбачеву. – Но один долг я должен отдать, чего бы это ни стоило, и вы можете мне помочь”.

Шеварднадзе устроил для Горбачева показ “Покаяния”. После сеанса Горбачев, у которого в сталинские репрессии пострадали оба деда, дал согласие на выпуск фильма.

Но тут грянул кризис: Чернобыльская катастрофа. Выход фильма пришлось отложить.

Примерно в это же время режиссер Элем Климов, новый первый секретарь правления Союза кинематографистов, учредил “конфликтную комиссию”, чтобы снять с полки многие фильмы, отправленные туда при прежних советских лидерах. Климов понимал, что “Покаяние” затрагивает настолько опасные темы, что решение должно приниматься на высшем уровне. Он пошел к идеологу либерализации Александру Яковлеву. Тот был потрясен “Покаянием”, пригласил Абуладзе к себе и предложил план действий: организовать “утечку” фильма, показывая его сначала избранной публике в специальных местах, а затем наращивая число показов. Так факт существования “Покаяния” станет непреложным.

Как оказалось, между демонстрацией “Покаяния” и серьезными политическими событиями установилась таинственная связь. В октябре 1986-го фильм показали несколько раз – в основном доверенной части элиты в Москве, Тбилиси и других крупных городах Союза. А в январе 1987-го Горбачев председательствовал на историческом пленуме ЦК, где ясно дал понять, что намерен провести радикальную политическую и экономическую реформу. Месяц спустя уверенный в себе Горбачев выступил вновь: перед собранием журналистов и писателей он сказал, что белые пятна истории необходимо заполнить. “Не надо забывать имен, но тем более аморально забывать или замалчивать целые периоды в жизни народа... Историю необходимо видеть такой, как она есть”.

“Покаяние” показали в тысячах кинотеатров. Фильм увидели миллионы, в том числе молодой человек по имени Дима Юрасов.

Когда Юрасова уволили из архива Верховного суда, он устроился разнорабочим, разгружал грузовики в типографии. Фильм Абуладзе вселил в него надежду. Ему показалось, что перемены – не пустой звук. Юрасов понял, что не он один хочет узнать больше о прошлом. Московские интеллигенты, в основном старшего поколения, помнившие надежды и разочарования оттепели, стали формировать дискуссионные группы, устраивать публичные выступления. Не без помощи Александра Яковлева Юрий Афанасьев был назначен ректором Историко-архивного института. Афанасьев вскоре развернул кампанию за радикальный пересмотр советской истории и организовал цикл лекций о сталинской эпохе. Он дал возможность публично заговорить ученым и тем, кто выжил в годы террора.

Юрасов тогда подумал, что пришло время “легализовать” работу, которую он начал давным-давно в недрах архива. Он хотел познакомить людей со своим трудом и хотел с их помощью пополнить свой мартиролог. Он стал посещать лекции и дискуссионные клубы – хотя бы чтобы оказаться рядом с людьми, прожившими ту жизнь, о которой он читал в архивах.

13 апреля 1987 года Юрасов пошел на “вечер воспоминаний” в Центральном доме литераторов. Первые выступающие очень осторожно говорили о преступлениях в прошлом страны. Это были люди старшего поколения, привыкшие изъясняться намеками и тотчас отступать от опасной правды. Они были хорошо натренированы в употреблении эвфемизмов и аллегорий. Прямо они жаловались только на отсутствие информации.

Дима был разочарован, подавлен. Все уже готовились разойтись, когда он попросил слова и получил его. Злым и задиристым тоном неформала, разговаривающего со старшими, Дима сообщил о своей работе. Сказал, что за годы подпольных исследований собрал 123 000 каталожных карточек. Сказал, что, насколько ему известно, в архивах лежат по меньшей мере 16 миллионов дел арестованных и казненных. Поведал аудитории, что, просматривая документы, нашел конфиденциальное письмо председателя Верховного суда СССР Хрущеву: в нем говорилось, что с 1953 по 1957 годы 600 000 человек, расстрелянных при Сталине, были реабилитированы посмертно. Еще 612 500 человек, по словам Юрасова, были реабилитированы с 1963-го по 1967-й. Он сообщил, что начиная с 1929 года все “антисоветские” преступления (термин, использовавшийся как при Сталине, так и позднее) фиксировались на карточках в архивах Министерства внутренних дел.

“У меня есть статистика, – сказал Юрасов. – Она, разумеется, неполная, но дает общее представление”.

Люди были потрясены – не только цифрами, которые называл Юрасов, но и тем, что у него был доступ к подобным данным, и их точностью. Когда Дима вернулся на свое место, один из главных ораторов, пожилой историк, взял микрофон и признал, что молодой человек явно “знает гораздо больше, чем я, и, подозреваю, больше, чем все в этом зале. Я очень признателен ему”.

Когда слушатели расходились, кто-то спросил у Юрасова, верит ли он, что его “откровенность” что-то даст.

– Вот и увидим: началась в самом деле перестройка или это опять пустые слова, – отвечал Дима.

Летом 1987 года Горбачев и Александр Яковлев начали готовить речь об отношении к истории, которую генсек собирался произнести в день 70-летия Октябрьской революции.

В этой речи Горбачеву предстояло совершить один из самых сложных своих политических и риторических маневров. Прежде всего сам Горбачев до сих пор был уверен в “пра-

вильности социалистического выбора”. Он по-прежнему считал Ленина интеллектуально и исторически образцовой фигурой. Нет никаких свидетельств того, что Горбачев собирался подорвать, а тем более разрушать основы идеологии и государственности Советского Союза – во всяком случае, не в 1987 году. Он хорошо знал, что в ЦК, политбюро, местных комитетах партии преобладают люди, чья карьера и само существование зиждились на неизменности и окаменелости мира, не подвергавшего сомнению официальную версию советской истории: “необходимость” насильственной коллективизации и индустриализации, “триумф” сталинского руководства во время войны. Чтобы удержаться у власти, Горбачев должен был начинать с малых доз правды.

Летом и осенью 1987 года политбюро не раз собиралось, чтобы обсудить юбилейную речь. Горбачеву поневоле приходилось прибегать к стратегическим уловкам и эвфемизмам. Коммунистическая партия была не просто самым могущественным политическим институтом в стране – она была единственным. Того, что позже стали называть демократической оппозицией, еще не существовало. Широкий круг людей, поддерживавших реформы, – от бывших диссидентов, таких как Андрей Сахаров, до ранних “неформальных” объединений вроде “Демократической перестройки” – возлагал все надежды на Горбачева. Он сосредоточил в своих руках власть, и их это на тот момент устраивало. Горбачев имел дело с политбюро, в котором убежденных реформаторов было всего четверо: Горбачев, Ельцин, Яковлев и Эдуард Шеварднадзе. Большинство были сторонниками “жесткой линии”, как Егор Лигачев, или умеренными консерваторами, как Николай Рыжков. “Глупо предполагать, что эти консерваторы были менее консервативны, чем те, кто возглавил августовский путч”, – говорил мне Шеварднадзе. Каждое слово об истории в докладе Горбачева было чревато конфликтами, политической войной. Яковлев рассказывал мне, что, когда Горбачев показал политбюро черновик речи, большинство потребовало не называть деяния Сталина “преступными”. Но в этом вопросе Горбачев воспользовался своей властью и послушался соратников.

В октябре Горбачев выступил с репетицией ноябрьской речи на закрытом пленарном заседании ЦК. Как и Хрущев в 1956-м, Горбачев, описывая сталинский террор, привел конкретные цифры: каждые 10 из 13 старых большевиков, доживших до 1937 года, были репрессированы; 1108 из 1966 делегатов XVII съезда партии в 1934 году и 70 % тогдашнего ЦК были “ликвидированы”; “тысячи командиров Красной армии, цвет армии накануне гитлеровского вторжения” расстреляны. Он говорил о том, что победа в войне досталась вопреки, а не благодаря сталинскому руководству. Зачитывая этот перечень преступлений, Горбачев заметил, что в зале недовольно зашептались. Отложив текст в сторону, он решил слегка сдать назад.

– Товарищи, – произнес он, – прошу заметить, что не все, о чем я здесь говорю, войдет в юбилейную речь со всеми подробностями. В речи будут даны только общие оценки сложных периодов нашей истории.

Незадолго до юбилея Горбачеву позвонил по телефону Лигачев. Как он сам рассказывал мне, его семья и семья его жены тоже “пострадали” во времена сталинских репрессий, и он тоже выступал за показ “Покаяния”. Но он опасался, что жесткая оценка в речи генсека “очернит” советскую историю.

– Это перечеркнет всю нашу жизнь! – яростно настаивал Лигачев. – Мы покажем, что можно оплевывать нашу историю!

Горбачев обладал большими прерогативами, но понимал и то, как хрупок баланс сил. В конце пленума один из главных реформаторов – Борис Ельцин – в ярости сложил с себя полномочия, обвинив Лигачева в шантаже, а самого Горбачева – в создании культа личности, который не допускал разногласий в политбюро. Отставка Ельцина и последовавшие затем бурные ритуальные обвинения в его адрес показали, что политическая обстановка, в которой Горбачеву приходилось действовать, была подобна “разлитому бензину”, как он сам

однажды сказал. В следующие несколько месяцев, по мере того как события пленума становились достоянием общественности, люди узнавали, какой взрывоопасной и даже озлобленной была атмосфера в партийных верхах. Даже Яковлев и Шеварднадзе сочли своим долгом вместе со сторонниками “жесткой линии” обвинить Ельцина во всех смертных грехах. Горбачев также не проявил жалости. Но пройдет немного времени, и окажется, что именно ельцинский демарш был созвучен историческому моменту. Спустя какое-то время сторонники “жесткой линии” не захотят больше быть объектами манипуляции и пойдут в контратаку, используя вначале политические средства, а затем и оружие. Тогда настанет час Ельцина. Но пока Горбачев еще пытался управлять исторической дискуссией, и для этого требовались тонкие ходы и компромиссы. Да, Горбачев уже готов был оплевывать Сталина, но – аккуратно.

2 ноября 1987 года в Кремлевском дворце съездов Горбачев обратился со своей речью ко всей советской телевизионной аудитории и ко всему реликтовому коммунистическому миру. Чтобы услышать, что Горбачев скажет и чего не скажет о советской истории, прибыли Эрих Хонеккер из ГДР, Войцех Ярузельский из Польши, Фидель Кастро с Кубы, Даниэль Ортега из Никарагуа, Милош Якеш из Чехословакии, Николае Чаушеску из Румынии, присутствовали и члены ЦК КПСС. Вскоре все лидеры, за исключением Кастро, будут или переизбраны, или свергнуты в ходе революций, и это в большой степени будет результатом горбачевской речи. Елейная, уклончивая, полная партийного новояза, который привиделся Оруэллу и был усовершенствован трусливыми партийцами, горбачевская речь все же отворила двери, и в них, с рыком, ворвался лев истории.

Теперь, всего несколько лет спустя, эта речь кажется принадлежащей иному миру, кажется идеологическим обрядом, которым потомки тирана воздают ритуальные почести прошлому и избранному партийному курсу.

“Дорогие товарищи!

Уважаемые зарубежные гости!

Семь десятилетий отделяют нас от незабываемых дней Октября 1917 года. Тех легендарных дней, которые начали свой счет новой эпохе общественного прогресса, подлинной человеческой истории. Октябрь – поистине «звездный час» человечества, его рассветная заря. Октябрьская революция – это революция народа и для народа, для человека, его освобождения и развития. <...>

Год 1917-й показал, что выбор между социализмом и капитализмом – это главная социальная альтернатива нашей эпохи, что в XX веке вперед идти нельзя, не идя к более высокой форме социальной организации – к социализму”.

Лишь после многих подобных страниц и приступов бурных аплодисментов прозвучал наконец намек на истинную цель доклада. Но среди ритуальных славословий это выглядело почти заискивающе: «...если сегодня мы вглядываемся в свою историю порой критическим взором, то лишь потому, что хотим лучше, полнее представить себе пути в будущее».

Здесь Горбачев прибег к пафосу. Перейдя непосредственно к Сталину, он пообещал придерживаться уравновешенной, сбалансированной оценки. “Оставаясь на позициях исторической правды, мы должны видеть, как неоспоримый вклад Сталина в борьбу за социализм, защиту его завоеваний, так и грубые политические ошибки, произвол, допущенные им и его окружением, за которые наш народ заплатил великую цену и которые имели тяжелые последствия для жизни нашего общества”. Горбачев даже отдал должное идеям исторического детерминизма и тому типу исторического мышления, которое пропагандировал “Краткий курс”. “Глядя на историю трезвыми глазами, учитывая всю совокупность внутренних и международных реальностей, нельзя не задаться вопросом: можно ли было в тех условиях

избрать иной курс, чем тот, который был предложен партией? Если мы хотим остаться на позициях историзма, правды жизни, ответ может быть один: нет, нельзя”.

Ответ может быть один! Оглушительные овации.

Но вот наконец было произнесено то, ради чего затевалось все это пустословие. Это был момент истины – в 1956 году Хрущев решился на такое только в секретном докладе. Теперь глава советского государства публично, перед миллионами телезрителей, сказал несколько слов правды:

“Совершенно очевидно, что именно отсутствие должного уровня демократизации советского общества сделало возможными и культ личности, и нарушения законности, произвол и репрессии 30-х годов. Прямо говоря – настоящие преступления на почве злоупотребления властью. Массовым репрессиям подверглись многие тысячи членов партии и беспартийных. Такова, товарищи, горькая правда. Был нанесен серьезный ущерб делу социализма и авторитету партии. И мы должны прямо сказать об этом. Это необходимо для окончательного и бесповоротного утверждения ленинского идеала социализма. <...>

Вина Сталина и его ближайшего окружения перед партией и народом за допущенные массовые репрессии и беззакония огромна и непростительна. <...> ...и сейчас еще [мы] встречаемся с попытками отвернуться от больших вопросов нашей истории, замолчать их, сделать вид, будто ничего особенного не произошло. С этим мы не можем согласиться. Это было бы пренебрежением к исторической правде, неуважением к памяти тех, кто оказался невинной жертвой беззакония и произвола”.

Всего несколько фраз среди нагромождений чепухи. И словно желая обезопасить себя, не заходить слишком далеко, Горбачев быстро вернулся к фанфарам и тону, не знающему сомнений.

“Ни грубейшие ошибки, ни допущенные отступления от принципов социализма не могли свернуть наш народ, нашу страну с того пути, на который она встала, сделав свой выбор в 1917 году. <...>

Социалистическая система и проверенные ею на практике поиски и опыт имеют общечеловеческое значение. Она предложила миру свои ответы на основные вопросы человеческого бытия, апробировала свои гуманистические и коллективистские ценности, в центре которых – человек труда. <...> В Октябре 1917 года мы ушли от старого мира, бесповоротно отринув его. Мы идем к новому миру – миру коммунизма. С этого пути мы не свернем никогда!”

И, как сообщает стенограмма, “[бурные, продолжительные аплодисменты]”.

В то время многие историки на Западе называли эту речь огромным разочарованием, едва ли не предательством. Но, несмотря на все ее вопиющие слабости – неготовность критиковать Ленина, прославление насильственной коллективизации, – Горбачев открыл самую важную дискуссию. В интеллектуальном, политическом, нравственном плане его речь сыграет важнейшую роль в разрушении сталинской системы принуждения и имперской политики. Когда в 1989 году Кремль с неохотой “обнаружил” секретный протокол, дополнявший пакт Молотова – Риббентропа – договор, по которому нацистская Германия уступала власть над независимыми балтийскими республиками Советскому Союзу, – это ускорило освобождение Латвии, Литвы и Эстонии. “Правда” опубликовала на своих страницах материалы круглого стола на тему, целесообразен ли был ввод войск в Прагу в 1968-м, а в это время сотни тысяч чехов и словаков вышли на митинг на Вацлавской площади. Публикация в “Правде” подтвердила, что Кремль стал по-новому смотреть на прошлое, и лишила чешскую компартию последних остатков “легитимности”. Поляки узнали правду о расстрелах в лесах Калинина, Катыни и Старобельска, о том, как их страна подчинялась Москве. Таких примеров были десятки. Возвращавшаяся история была бесжалостна.

## Глава 5

### Вдовы революции

Через два месяца после горбачевской речи мы с моей женой Эстер переехали из Вашингтона в Москву, сняв двухкомнатную квартиру в центре, на Октябрьской площади<sup>24</sup>. Дом 7 по Добрынинской улице стоял огромной буквой Г. Эта массивная громада напоминала Кооп-сити в Бронксе<sup>25</sup>, но без тамошнего обаяния. Если не считать иномарок на парковке с вооруженными охранниками, это был обычный московский дом. Он начал разваливаться еще пока строился и с тех пор все время грозил рухнуть. Бетонные стены осыпались мелкой крошкой. Лифт закрывался с лязгом, как фургон для скота. Мое начальство из *The Washington Post* платило за эту квартиру 1200 долларов в месяц – в сотни раз дороже квартирной платы за аналогичное жилье в Москве. Это был один из рудиментов государственного социализма. Партийное учреждение, на балансе которого находилось здание, – контора стяжателей и соглядатаев под названием УПДК<sup>26</sup> – обдирало иностранцев, при любой возможности требуя твердую валюту. Я как-то спросил, нельзя ли мне провести в квартиру международную телефонную линию: цена этой операции, по идее, долларов пятнадцать. “Это будет стоить 20 000 долларов”, – ответило мне УПДК. За все это им надо было говорить спасибо.

Через дорогу от нас стояла самая большая в городе статуя Ленина – бронзовое чудище, обошедшееся пролетарскому государству более чем в 6 миллионов долларов. Зрелище было знатное. Воображаемый ветер вздымал бронзовые фалды ленинского пальто и колыхал ткань брюк. Ленин указывал рукой в “светлое будущее”.

Город был заставлен уродливыми монументами, у каждого из которых было свое прозвище и свои завсегдатаи. Внушительный памятник поэту Маяковскому назывался “Широкие штанины”<sup>27</sup>, взмывающий в небо серебристый фаллос, символизирующий советские космические достижения, – “Мечта импотента”. А у нас был Ленин, это было наше место встреч (“Давай встретимся под левым башмаком Ленина”). Он был неотразим. Вокруг него постоянно толклись туристы, разглядывавшие и фотографировавшие исполина. Через четыре года после нашего приезда московские инженеры измерили Ленина, чтобы подготовить статую к сносу. Они рассудили, что лучше всего отпилить Ленина на уровне лодыжек, а затем снять с помощью крана. Но мы забегаем вперед<sup>28</sup>.

Когда мы приехали, погода была отвратительной. Из ватных облаков на землю сыпалась морось, по обочинам лежал грязный снег. Престарелые автомобили, как гиппопотамы, тяжело тащились по слякотным улицам; в тумане их движение было едва различимо. Русский мир жил будто в замедленной съемке. Если выпадал небольшой снег или шел дождь, тротуары на несколько дней превращались в ледяной каток. Чтобы не упасть, приходилось ходить то скользя, то шаркая, почти не отрывая ног от земли. Постоянно на твоих глазах кто-нибудь – часто грузная бабушка, у которой от многочасового стояния в очередях отказывали ноги, а нервы сдавали из-за толкотни в магазине, где все равно ничего нельзя было купить, – поскользнулся, пролетел пару метров и приземлялся плашмя. Такое падение могло человека прикончить. Но обычно от него оставались иззелена-черные синяки размером с добрую тарелку. Вскоре и у меня появились эти отметины приобщения – по одной с каждого бока.

---

<sup>24</sup> Ныне Калужская площадь.

<sup>25</sup> Крупнейший в мире жилищный кооператив, занимающий целый квартал в нью-йоркском Бронксе.

<sup>26</sup> Управление делами дипломатического корпуса при МИД СССР.

<sup>27</sup> По выражению из “Стихов о советском паспорте” Маяковского.

<sup>28</sup> Памятник Ленину на Калужской площади до сих пор стоит.

Я ожидал увидеть зиму из “Доктора Живаго” Дэвида Лина (не Пастернака!) – широко-экрannую панораму из белизны и холода. Но настоящая зима оказалась бесконечной и мерзкой: серый затяжной марафон начинался в конце сентября и заканчивался еще более неприглядными видами в конце апреля (который считался как бы весной). Тающий снег, бурый пейзаж, автобусы, облепленные грязью до такой степени, что из окон не видно ничего, внезапное появление из-под снега жухлой травы – один мой русский друг сравнил эти картины с “оголяющей старой проституткой”. Редкий год, чтобы с сентября по май в Москве выдавались десять или пятнадцать дней, когда было видно голубое небо. Жизнь без солнечного света казалась жизнью на другой планете, в другой реальности. После года в Москве мы чувствовали себя, словно дряблые покоричневевшие грибы. Однажды я спросил знакомого художника, почему он не эмигрирует: его картины в Европе и Америке уже покупают за тысячи долларов. “Из-за света”, – ответил он.

Квартиры, разумеется, прослушивались. Не то чтобы мы увидели хоть один микрофон, но сомневаться в их наличии было бы глупостью и дурным тоном. Глупостью – потому что я не хотел подставить никого из моих советских друзей. А дурным тоном – потому что, если наши работодатели не будут считать, что мы находимся под “психологическим давлением”, нам могут перестать индексировать зарплату. Мой преемник мне бы этого не простил. В недоброй памяти прошлом квартира иностранца была для обычных советских граждан местом совершенно недоступным. Наши предшественники догорбачевской эпохи не могли и мечтать о том, чтобы пригласить на обед советских друзей. В гости приходили как раз те, кого вы терпеть не могли: мелкие чиновники, подозрительные сотрудники различных институтов и продажные писаки. Все они были осведомителями или, по крайней мере, охотно сотрудничали с “органами”. Этим ничего не грозило. Но заставлять настоящего друга предъявлять документы милиционеру у ворот дома – это была неприятная перспектива. Теперь, при Горбачеве ситуация менялась. Друзья, обращаясь к люстре, говорили: “Надеюсь, микрофон включен, а то у меня есть важное сообщение. Горбачев – дрянь”. Или не дрянь, это не имело значения. Главным было то, что страх понемногу уходил.

Как житель Октябрьского района – район вытянут от центра на юг вдоль всего Ленинского проспекта – я счел нужным нанести визит тем, кто этим муниципальным образованием управляет. Поступок, в прежние времена непредставимый. Но теперь на дворе была гласность – своего рода идеологическое и языковое разоблачение. Каждую неделю спадало какое-нибудь очередное покрывало, очередное табу. Уже не имело значения, что выверенная в ЦК речь Горбачева об истории была скорее упражнением в умолчании, чем в обнажении. Вдруг всем становилось известно, что Сталин был “слишком груб”, как аттестовал его Ленин в своем письме-завещании; затем выяснялось, что он погубил миллионы жизней в ходе коллективизации на Украине. Орудием гласности Горбачев также сделал политический спектакль. В зарубежных столицах и советских городах он приказывал остановить свой лимузин, выходил из него и общался с народом. Это было что-то невиданное: современный советский лидер на улице, и никто не поддерживает его под руки!

Тогда был анекдот:

- Кто поддерживает Горбачева?
- Никто. Он сам ходит.

Одышливые седовласые партийцы, секретари рангом ниже, правившие в крупных и малых городах, как феодальные князья, понемногу начинали понимать, что общение с подданными может продлить их власть. Так что меня с распростертыми объятиями встретили в Октябрьском райкоме партии.

“Пожалуйста, заходите”, – сказал мне по телефону секретарь райкома Михаил Кубрин тем простецким тоном, который был в моде в 1988-м. Тон этот был одновременно нервным

и развязным: им давали понять, что в райкоме со времен Ленина только и делали, что тесно общались с избирателями. “Берите с собой блокнот!”

Я пришел в райком – громоздкую бетонную коробку серого цвета. В вестибюле старуха-уборщица (ноги ее были обмотаны эластичными бинтами) мыла пол грязной водой. Тряпка все время не доставала до одного и того же места. В воздухе висел невыветриваемый запах – смесь дезинфектанта, плохого табака и мокрой шерсти. Так пахло в России зимой в помещениях, так пахло в очереди от женщины перед вами, так пахло в каждом лифте. Рядом с неработающим газетным киоском тянулись ряды вешалок, на которых понуро висели мрачные темные пальто. От них шел легкий пар, как от лошадей в стойле.

Внезапно появился Кубрин. Улыбки, рукопожатия – типичный представитель эпохи гласности.

“Приветствую, товарищ житель!” – поздоровался он.

Мы поднялись по лестнице в его кабинет. Это был советский лидер нового образца: европейский галстук, хорошая стрижка. Должность у него была по советским меркам средняя: за хорошую службу такой работник мог получить путевку летом в Болгарию. В кабинете наш ждал Юрий Ларионов, глава районной администрации, плотный мужчина, чья манера говорить напоминала Горбачева, а внешность – Брежнева. Он держался приветливо, но по его рукопожатию я понял, что при необходимости этот человек может раздавить в лепешку автомобиль “Волга” или, по крайней мере, какого-нибудь мелкого чиновника. Лицо у него было серое и исчерченное, как металлическая мочалка.

Мы сели за огромный стол светлого полированного дерева. Пугливая и шустрая секретарша внесла чай и печенье. И поставила на стол облупленную желтую вазу с конфетами, произведенными по соседству на фабрике “Красный Октябрь”.

– Что вы хотели бы узнать? – спросил Ларионов с улыбкой, скатывая фантик в тугое копыце.

– Сказать по правде, я пришел и как житель, и как журналист, – ответил я. – Я хотел бы узнать, почему каждый год в районе на месяц отключают горячую воду. На целый месяц как минимум. Да и об отоплении мало хорошего можно написать.

В то время такая тактика называлась “нащупывать границы гласности”.

Ларионов наклонился вперед и улыбнулся, как голодный гепард, завидевший раненую газель.

– Я рад, что в нашем районе живут иностранные друзья, – проговорил он, – но знаете, господин хороший, если вы напишете о нас плохо, мы ведь можем не только горячую воду отключить, но еще и свет и канализацию пустить в обратную сторону!

Мы все посмеялись, но я понял, что стоит сменить тему. Разговор перешел на повседневные тяготы администрации: тяжело управлять районом, в котором проживает 230 000 человек, расположено 44 школы, 11 техникумов, Академия наук, Московский институт нефти и газа имени Губкина, станкостроительный завод “Красный пролетарий”. Не говоря о кондитерской фабрике. Как все политики, с которыми я встречался в жизни, хозяева Октябрьского района хотели, чтобы им посочувствовали, представив, какая ужасная ноша лежит на их плечах. Около часа Ларионов и Кубрин сетовали на свою участь. Для них было в новинку, что им звонят люди с жалобами: где-то не вывозят мусор, кто-то десять лет стоит в очереди на установку телефона, другие по пятнадцать лет ждут квартиры. Была, например, супружеская пара, шестой год состоящая в разводе, но вынужденная жить в однокомнатной квартире; поэтому если партия не найдет им другое жилье, то у нее будет “кровь на руках, как будто им той, что есть, мало. Мерзавцам! Всего доброго!”

Ларионов и Кубрин барственно вздохнули. Я заметил, что в прессе часто пишут о привилегиях партийных работников: машинах, квартирах, зарубежных отпусках.

По-видимому, этого говорить не следовало.

– Единственная наша привилегия, – разозлился Ларионов, – в том, что мы работаем по выходным. И вот еще одна: нам звонят и обзывают жалкими бюрократами. И это еще не самое худшее!

– Не самое, – подтвердил Кубрин, оперши голову на руку. – Совсем не самое.

Понять, что такое Москва, в нашу первую зиму мне было непросто. Однажды морозным утром мы с Эстер решили осмотреть кремлевские церкви. Мы доехали на метро до Библиотеки имени Ленина. Выйдя из поезда, мы увидели безногого инвалида, который передвигался на тележке. Жизнь инвалидов в Москве была чудовищной: нигде никаких пандусов, лифты то и дело ломались. Редко можно было встретить человека на костылях или на инвалидной коляске. Государство предпочитало отправлять инвалидов, прямо с детства, с глаз долой за город, в интернаты – скорбные дома призрения. И вот мы видим этого человека: руки по самые запястья забрызганы грязью, вокруг снуют пассажиры, обгоняют инвалида, толкают его коленями, задевают авоськами с картошкой и свеклой. Его худое бородатое лицо показалось мне знакомым. Кажется, я видел его фотографию в довольно старой книге о диссидентском движении.

Я очень хотел написать что-нибудь об инвалидах и стал знакомиться с этим человеком. Но едва я успел представиться, как он попросил: “Помогите мне, пожалуйста, подняться по лестнице. Через 15 минут у нас демонстрация”. Пока мы с Эстер помогали ему, он подтвердил, что действительно тот самый человек из книги: Юрий Киселев, основатель Инициативной группы защиты прав инвалидов.

Когда мы поднялись на улицу, Киселев показал нам на небольшую группу у входа в библиотеку. “Вон они, – сказал он. – Демонстранты. И прочие тоже здесь. Будет интересно”.

Мне было непонятно, о чем он говорит. Я видел только студентов и случайных прохожих. У тротуара было припарковано несколько автобусов.

– Какая демонстрация? – спросил я.

Юрий подкатил к худошавому чернобородому молодому человеку, который раздавал газету, размноженную на ротапринте.

– Это Саша Подрабинек, – сказал Юрий. Подрабинека дважды сажали в тюрьму, за то, что он протестовал против советской карательной психиатрии. Теперь он выпускал уникальное издание – газету “Экспресс-хроника”. В этом еженедельнике печатались краткие новости: забастовка таксистов в Чехове, эмиграционная история харьковчанина, митинг в Ереване. Подрабинек основал нечто вроде подпольного *Associated Press* в стране, где подобного агентства никогда не существовало. В течение целой недели он и его сотрудники получали корреспонденцию со всех концов страны. По субботам, когда на улицах было мало милиционеров, Подрабинек раздавал свою газету на Арбате и на Пушкинской площади.

– Видите этих людей на верхней ступеньке? – спросил Подрабинек. – Это крымские татары. Ровно в полдень они развернут плакат.

Странное было ощущение: мы как будто попали на площадку *Universal Studios* или “Мосфильма” и теперь ждали, когда осветители выставят свет для съемок важной сцены.

Подрабинек обернулся к улице.

– А теперь посмотрите вон на те желтые автобусы, – сказал он. – Видите молодчиков, сидящих там? Это все кагэбэшники и нанятые громилы. Перед самым полуднем они выйдут и попытаются разогнать демонстрацию.

Мы стояли на площадке перед библиотекой и вертели головой то в одну, то в другую сторону. Я посмотрел на часы. Было 11:58.

Первый ход сделал КГБ. Из автобуса выбрался офицер в громадном синем плаще и черных бурках. За ним вышло еще трое.

Слегка понизив голос из-за подошедших сотрудников КГБ, Подрабинек продолжал просвещать меня, комментируя разворачивающийся акт городской герильи: “Смотрите, вот они берут татар в кольцо... Обратите внимание, у них камеры...”

Старший офицер вытянул шею, чтобы лучше слышать. Другой кагэбэшник поднес ко рту отворот куртки и начал что-то бормотать.

– Мне, может, погромче говорить? Чтобы было слышно на микрофон? – осведомился Подрабинек.

Кагэбэшник не улыбнулся. Он опустил глаза и заметил Киселева на тележке.

– Вы же антисоветчик? – утвердительно спросил он. Мы ждали, что скажет Юрий.

– Это вы антисоветчик, – был ответ.

Тогда офицер кивнул на татар, которые стояли на ступенях библиотеки и ждали удара курантов на башне. Они были одними из тысяч, депортированных при Сталине – под тем предлогом, что они во время войны поддержали Гитлера. Сталин хотел вытравить в Советском Союзе все национальные движения и любое национальное чувство: они мешали его воспитанию “советского человека”. Ради достижения цели Сталин был готов убить советского человека. Впрочем, Горбачев в своей октябрьской речи назвал эту политику “триумфом”. В стране было достигнуто многонациональное единство.

– А вас-то почему они волнуют? – спросил меня офицер доверительным тоном. – Это их дела, а не ваши.

В полдень из автобусов высыпали кагэбэшники в штатском, ражие молодцы с оранжевыми нарукавными повязками. Некоторые из них начали фотографировать происходящее “инстамадиками”<sup>29</sup>, один сотрудник снимал все на видеокамеру *Sony*.

Теперь была очередь за протестующими: они развернули плакат с надписью “Верните нас на родину!”. Офицер уведомил их, что они нарушают недавнее постановление Мосгорисполкома, запрещающее несогласованные демонстрации.

– Нам не дали разрешения, – возразил один из татар.

– Ну так и всё, – сказал офицер. Он поднял руки, давая знак группе захвата. Кагэбэшники разорвали транспарант в клочья, татар поволокли в автобус. Они почти не сопротивлялись.

Тем временем другой офицер потребовал у нас паспорта и прочие документы и переписал отсюда все данные. Те, что были с фотоаппаратами, нас щелкали.

Вся демонстрация не продлилась и трех минут. Мы с Эстер, Подрабинек и Киселевым попытались поймать такси. Мы долго ждали, но машин не было. В конце концов, один из офицеров КГБ подошел к нам и учтивейшим тоном произнес: “Вам лучше ловить машину на той стороне улицы”. И с этими словами ушел.

Киселев усмехнулся:

– КГБ хочет, чтобы мы о них думали: ребята просто делают свою работу.

Протестовавших татар выслали из Москвы. Большинство из них отправилось в Ташкент, столицу Узбекистана: туда в 1944-м в вагонах депортировали их семьи. На весну они наметили новые демонстрации.

Но в те первые дни гласности главные перемены происходили не на улицах во время демонстраций и не в чиновничьих кабинетах, а на страницах еженедельных изданий – “Московских новостей” и “Огонька”, толстых журналов “Новый мир” и “Знамя” – и в осторожных, но все же по тем временам удивительных речах Михаила Горбачева. Все кинулись читать. Каждый день в газетах писали о страшном, душераздирающем прошлом; в еженедельных журналах печатались романы, ждавшие выхода десятки лет; история и литература

---

<sup>29</sup> Дешевый фотоаппарат *Kodak*, который было легко заряжать пленкой.

стали самыми горячими новостями. Не стоит думать, что вал статей, публикация запрещенных книг и стихотворений были событием только для московской и ленинградской интеллигенции. “На самом деле к тому времени, как вышли «Живаго», Бродский и все остальное, интеллигенция все это уже прочла в самиздате”, – объясняла мне писательница Татьяна Толстая. Для нее гласность означала, что она, живя в своей полуподвальной квартире в центре Москвы, могла больше не прятать иностранные книги. “Гласность – замечательная вещь для интеллигенции, но в первую очередь это взрыв для пролетариев”, – сказала она. И я помню это завораживающее зрелище в 1988 и 1989 годах: едешь в метро и видишь, как обычные люди читают Пастернака в голубоватых книжках “Нового мира” или новые исторические эссе в красно-белом “Знамени”. Больше двух лет истопники, шоферы, студенты – вообще все с голодной жадностью поглощали публикации. Они читали на эскалаторах, на улице, читали так, будто боялись, что литература вновь исчезнет в черном ящике цензуры. Люди, которые так долго были лишены лучшего, что писалось на их языке, теперь изучали классику, как будто по графику: на этой неделе – “Реквием” Анны Ахматовой, на следующей – “Чевенгур” Андрея Платонова. Один экземпляр “Нового мира” проходил через столько рук, что его оборачивали в бумагу, чтобы он не рассыпался. Часто для обертки использовали “Правду” – ей наконец-то нашлось хорошее применение. В этот ранний сонм попало и несколько иностранцев, среди них британский историк Роберт Конквест, автор исследований о Большом терроре, и, самое главное, Джордж Оруэлл, с необыкновенной точностью описавший тоталитарное государство. “Люди теперь впервые читают «1984», и они увидят, что Оруэлл, получивший образование в Итоне и на улицах колониальной Бирмы, понял душу – или бездушность – нашего общества лучше, чем кто-либо”, – говорил мне философ Григорий Померанц.

В ежедневных газетах выходили статьи о проститутках, наркоманах, осведомителях КГБ, хиппи, байкерах, нудистах, массовых убийцах, рок-звездах, целителях, королевах красоты – все это было в новинку. Никто раньше такого не читал. В еженедельнике “Огонек” публиковались поразительные статьи Артема Боровика о войне в Афганистане. Этот журналист, которому не было еще 30, попал на фронт благодаря связям своего отца Генриха и с КГБ, и с самим Горбачевым. Пока Генрих работал “журналистом” в Нью-Йорке, маленький Артем обучался в школе Далтон. Его английский был безупречен. Он рассказывал, что в своих афганских статьях брал пример с Майкла Герра, написавшего книгу “Репортажи” о Вьетнаме, и с Хэмингуэя, бывшего фронтовым корреспондентом. В конце концов он начал писать статьи для журнала *Life* и стал ведущим одной из телепрограмм.

Труднее всего читателю давались политические тексты. До последних дней Советского Союза партия и ее печатные органы изъяснялись на “новоязе”, который формировался десятки лет; это был набор формул, чье единственное назначение заключалось в борьбе со смыслом: его аннигиляции, вытеснении или умалении. В своей важнейшей речи об истории Горбачев продемонстрировал поразительное владение этим ритуальным языком, зачитывая страницы, заполненные “незабываемыми днями Октября... новой эпохой общественного прогресса, подлинной человеческой историей... «звездным часом» человечества, его расцветной зарей... правильностью социалистического выбора, сделанного Октябрем... более высокой формой социальной организации...” Все это словно взято из приложения “О новоязе” к оруэлловскому роману: обороты якобы возвышенного языка, ничьих чувств на самом деле не выражающего. Горбачев по-прежнему ощущал себя внутри герметичного партийного мирка, в котором вождь общается лишь с членами партии, главным образом с ее руководителями. Рассказать народу открыто и честно о подлинном, плачевном состоянии страны означало, скорее всего, вызвать гнев и месть номенклатуры. А народ уже почти не воспринимал избитые клише. Верил ли кто-нибудь, что в октябре 1917-го началась “новая эпоха

общественного прогресса”? Уж конечно, не крестьяне на юге России, таскавшие сено на собственном горбу (потому что тракторы ржавели в грязи). Верил ли кто-нибудь, что это и есть “более высокая форма социальной организации”? Уж конечно, не сотрудники и пациенты красноярской больницы, главврач которой признался, что единственный способ иметь иглы – это отчищать от ржавчины старые. Так повелось истари, что правители говорят на мертвом языке, на выхолощенной уклончивой латыни, а люди – на вульгарной живой, народной. Партийный новояз оказал настолько разрушительное действие, что когда, к примеру, люди слышали речь Сахарова, то они первым делом восхищались не его мудростью, а чистотой его языка. Оруэллу бы это понравилось.

В своей речи об истории Горбачев также продемонстрировал склонность к самообману. “Товарщи! – заявил он. – Мы справедливо говорим, что национальный вопрос у нас решен”. Уже одна эта фраза – свидетельство наиболее самоубийственного партийного заблуждения, представления, что и впрямь удалось создать советского человека и многонациональное государство, в котором растворились все виды и роды национализма. Всего через год события в Ереване, Вильнюсе, Таллине и других местах показали, что это совсем не так. По крайней мере, на публике Горбачев производил впечатление человека, не понимающего, ни к чему приведут эти события, ни вообще в каком направлении движется исторический процесс. “В Октябре 1917 года мы ушли от старого мира, бесповоротно отринув его, – говорил он. – Мы идем к новому миру – миру коммунизма. С этого пути мы не свернем никогда! *(Бурные, продолжительные аплодисменты.)*”

Сегодня можно сказать, что эта речь стала важнейшим событием в интеллектуальной и политической истории заката и падения советской империи. Но тогда Горбачев, очевидно, замыслил заменить одиозную, устаревшую официальную историю более либеральной версией, которая с помощью обновленных лозунгов и образов работала бы на чаемую цель: реформирование социализма. Оценивая период после смерти Ленина, Горбачев видел упущенные возможности, поруганную мечту. Неприятие сталинизма и утверждение социалистических “альтернатив” были основой его мировоззрения; на этом же когда-то основывало свои надежды целое поколение партийных функционеров и интеллектуалов – идеалистов времен хрущевской оттепели.

Шестидесятники были отчасти смелыми, отчасти циничными карьеристами. Полжизни они прождали великого реформатора, который придет и принесет в Москву Пражскую весну. Эти люди не рисковали так, как диссиденты. Но лучшие из них отказывались “жить по лжи” и находили способ объявить о своей хоть какой-то независимости от режима. Кто-то, пусть и во вред карьере, отказывался вступать в партию. Кто-то уезжал заниматься наукой и печататься в провинцию или в Восточную Европу, где было чуть свободнее. Они сохраняли в себе что-то живое. Придя к власти, Горбачев стал назначать на руководящие посты представителей этого поколения оттепели. Они стали главными редакторами важных газет и журналов, возглавили влиятельные академические институты и даже позволяли себе давать советы лидеру страны.

Почти весь следующий год после своей речи Горбачев оставался главным историком в стране, и он был не прочь и дальше контролировать поток разоблачений, держа его в определенных границах. Ректор Историко-архивного института Юрий Афанасьев вскоре обнаружил, что, хотя архивы сталинской эпохи открывались, документы, выставяющие в неблагоприятном свете Ленина и других “старых большевиков”, оставались под замком. В вышедшем в начале 1988 года популярном документальном фильме “Больше света” Сталин был показан чудовищем, но о Ленине и Красном терроре почти не упоминалось. Позднее довольно дремучий горбачевский партийный идеолог Вадим Медведев сказал журналистам, что политбюро не может допустить публикации работ Солженицына, в частности из-за его антиленинской позиции в “Архипелаге ГУЛАГ” и “Ленине в Цюрихе”.

В некотором роде горбачевское видение советского прошлого было не менее идеологично, чем прежнее партийное (хотя, разумеется, не принесло столько вреда). Чтобы придать легитимность планам либерализации социализма, Горбачев и партийцы его поколения вновь занялись иконотворчеством. Много говорилось о “позднем Ленине”, времен менее драконовского НЭПа в начале 1920-х; о Хрущеве, авторе антисталинской оттепели; о Юрии Андропове, генсеке партии и реформаторе-технократе, который “слишком рано умер”; а больше всего, пожалуй, о Николае Бухарине, большевике с достаточно гибкой позицией, которого Сталин расстрелял в ходе партийных чисток.

Горбачев как генеральный секретарь КПСС был вынужден подыскать подходящий образ Ленина. Чтобы выглядеть партийным гуманистом, советским Дубчеком, ему не следовало заострять внимание на ленинской ярости, сквозящей в работе “Государство и революция”, или на его кровожадных письмах и телеграммах (“нам надо истребить еще профессоров!”), отправленных после Октябрьского переворота. Высветить более мягкую сторону образа вождя горбачевский круг решил с помощью его последних статей, таких как “О кооперации” и “Лучше меньше, да лучше”, в которых Ленин вроде бы отступал от идеи жесткой централизации и принуждения в экономике и политике. Образ горбачевского Ленина был воплощен в исторических пьесах Михаила Шатрова “Диктатура совести” и “Дальше... дальше... дальше!”. У Шатрова Ленин оказывался бесконечно мудрым и терпеливым революционером, гуманистом, готовым изменять и себя тоже, Человеком и Сверхчеловеком.

Хрущев олицетворял благие намерения, не осуществленные из-за политической глупости. Этот выскочка из крестьянской семьи дерзнул развенчать культ Сталина, но в 1960-е годы зарпортовался и волюнтаристски принял ряд решений, которые так разозлили консерваторов в политбюро, что они его свергли. До самого августовского путча Горбачев не переставал размышлять о печальном уроке Хрущева и твердил своим соратникам, как мантру: “Самые дорогие ошибки – политические”. Он-то уж постарается выдерживать баланс сил, он останется центром и удержится у власти. Он будет умнее Хрущева и сможет провести ту не вполне оформленную реформу, которую начал.

Андропов, до поста генсека занимавший должность главы КГБ, был важен для Горбачева по двум причинам. Во-первых, Андропов считал, что первый шаг к эффективному, работающему социализму – это искоренение спекуляции, туеядства и разгильдяйства на производстве и среди управленцев. Будучи человеком из КГБ, он прекрасно знал масштаб проблемы и был готов ее решать. За время своего короткого правления Андропов успел привести в ужас верных брежневцев, уволив некоторых лентяев и арестовав несколько коррупционеров. Второй причиной было то, что Андропов упорно продвигал Горбачева по службе. Именно благодаря ему Горбачев из провинциального секретаря сделался членом ЦК. Андропов всегда поддерживал Горбачева. Умирая от почечной недостаточности в кремлевской больнице, он даже надиктовал завещание, которое следовало огласить в ЦК. Андропов хотел, чтобы в его отсутствие его обязанности исполнял его протеже. Но, как рассказал мне помощник Андропова Аркадий Вольский, партийные старцы позаботились о том, чтобы на пленуме ЦК об этом завещании никто не упомянул. Пост генсека получила очередная “мумия” – Константин Черненко. “Костей будет легче управлять, чем Мишей”, – произнес один из членов политбюро, выходя из комнаты, где был решен вопрос о престолонаследии.

Самой значительной для Горбачева фигурой в новом партийном иконостасе был Николай Бухарин. Когда Горбачев в отпуске писал свою речь об истории, один из помощников прислал ему экземпляр биографии Бухарина, написанной историком из Принстонского университета Стивенем Коэном. (Никаких советских биографий Бухарина на ту пору не существовало; если его и упоминали в официальной печати, то только как преступника и правого уклониста.) По мнению Коэна, Бухарин мог бы предложить либеральную альтернативу сталинскому социализму. Такая фигура не могла не привлечь и даже вдохновить Горбачева и

многих его ровесников-реформаторов среди членов партии и элиты. Бухаринская альтернатива означала, что не все потеряно, что тропа, проложенная от Маркса к Ленину, не обязательно ведет к экономическому краху и геноциду – то есть к Сталину. Бухарин энергично выступал против планов Сталина, называя его Чингисханом, ратовал за ненасильственную коллективизацию, многоукладную экономику, некоторый экономический плюрализм. Он не был демократом, но не был и мясником. Приди он к власти (хотя это было невероятно), Советский Союз не превратился бы в цивилизованное государство, но бессчетное число жизней было бы спасено. И хотя Бухарин говорил, что интеллигентов будут “штамповать”, “вырабатывая их, как на фабрике”, о нем осталась память как о единственном из партийных вождей, кто хлопотал за поэта Осипа Мандельштама.

Горбачевская речь свидетельствовала о еще неустоявшемся взгляде на Бухарина: “Бухарин и его сторонники в своих расчетах, теоретических положениях практически недооценили значение фактора времени в строительстве социализма в 30-е годы”. Это означало, что Сталин был прав, настаивая на ускоренной коллективизации деревни и возводя циклопические заводы на Урале, в Северном Казахстане и прочих местах.

Но далее в речи говорилось: “В этой связи уместно вспомнить характеристику Бухарина, которую дал ему Ленин: «Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики)»”.

Пожалуйста: прорыв совершен, комплимент аккуратно подается как цитата из Ленина, но затем следует нелепый довод. Как будто во Дворце съездов сидел хоть десяток человек, которым было бы известно – или которым было бы не все равно, – что такое диалектика.

На юге Москвы в тесной квартире выступление Горбачева смотрела по телевизору пожилая женщина. Ей было за 70. Она вслушивалась в слова Горбачева. Услышав имя “Бухарин”, она придвинулась к телевизору почти вплотную. Этого момента Анна Ларина – в 1938-м молодая жена приговоренного к расстрелу Бухарина – ждала полвека. Она надеялась на справедливость. Когда Горбачев окончил речь, Ларина откинулась на спинку, совершенно обессиленная и разочарованная. Реабилитируют ли Бухарина? На это ничто напрямую не указывало.

“Мне показалось, я вернулась в чистилище”, – рассказывала она.

Я познакомился с ней именно в том году. Анна Ларина выглядела невероятно молодо для женщины, испытавшей на себе почти всю советскую историю. Лицо ее было в глубоких морщинах, седые волосы серебрились, но она легко двигалась, а в глазах сверкали искорки, как в отполированном кристалле. На фотографиях 1930-х годов она ослепительно красива. Ларина разлила чай, поставила тарелку с печеньем и стала перебирать старые фотографии.

“Я выросла среди профессиональных революционеров, – она протянула мне карточку своего отца, Юрия Ларина, близко знавшего всех старых большевиков. – Жизнь у них была бурная, и все они истово верили в свои идеалы. Теперь я назвала бы их фанатиками. Это их и погубило”.

Когда она была маленькой, ее отец сильно заболел – он не мог удержать в руке даже телефонную трубку. Заслуженный революционер принимал Ленина, Бухарина, Сталина и прочих большевистских вождей у себя (они жили тогда в гостинице “Метрополь”). Ребенком Анна видела их всех.

“Конечно, Ленина я видела, когда была еще маленькой, – рассказывала она. – Однажды оба, Бухарин и Ленин, зашли к отцу. Потом Николай Иванович вышел, а Ленин сказал, что

Бухарин – «золотое дитя революции». Я не поняла и стала спорить: «Нет, нет, он не из золота, он живой!»».

Мне вчуже казалось странным слушать, как Ларина вспоминает это – как нечто интимное, относящееся к семейной хронике. Ей было десять лет, и она запомнила, как Бухарин и остальные рыдали на похоронах Ленина. Она стояла в Колонном зале у гроба рядом с сестрами Ленина. С другой стороны гроба стояли все творцы революции. На улице был невообразимый холод, жгли костры. Всюду звучали траурные марши. Прощаться с Лениным приходили толпы людей.

Семья Лариных жила в 205-м номере “Метрополя”. Бухарин жил прямо над ними. Когда ей было 16 лет, а Бухарину 42, она без памяти влюбилась в него. И написала ему письмо, в котором призналась в своих чувствах. Выйдя на площадку, чтобы подsunуть ему письмо под дверь, она увидела на лестнице маршем выше сапоги Сталина. Он явно шел к Бухарину. Она отдала Сталину письмо и попросила передать его Бухарину. Так один из самых кровавых убийц XX века на короткое время стал почтальоном, доставляющим любовное послание.

Они встречались три года, но Бухарин беспокоился, что она слишком молода и что, женившись на ней, он разрушит ее жизнь. Отцовское благословение Анна получила: “Интересней прожить с Николаем Ивановичем десять лет, чем с другим всю жизнь”.

Десяти лет у Анны не оказалось. Поженившись, они поселились в кремлевской квартире, откуда после самоубийства жены выехал Сталин. Довольно скоро Бухарин признался ей, что уже несколько лет считает Сталина чудовищем, который намерен уничтожить ленинскую партию и править единолично, используя террор и властный произвол. Семья Анны и Сталин входили в один тесный круг, но теперь она старалась держаться подальше от него. Она помнила рассказанный случай, как однажды Бухарин прогуливался с женой Сталина, а Сталин наблюдал за ними из-за кустов. А потом вдруг выскочил оттуда с криком: “Убью!”

В течение нескольких лет Сталин держал Бухарина в состоянии нервного напряжения, как поступал и с другими видными большевиками. Многие из них выступали против Сталина, но никогда не объединялись для противостояния. В 1927 году на партийном заседании Сталин говорил: “Вы хотите крови товарища Бухарина? Мы не дадим ее вам!” В 1935-м Сталин вновь выказал расположение к Бухарину. На банкете он, подняв бокал, предложил тост: “Давайте выпьем за Николая Ивановича!”

“Это было странно, – говорила Ларина. – В 1936-м казалось, что положение Бухарина упрочилось. Он был назначен редактором «Известий», стал членом Конституционной комиссии. Вообще было похоже, что в стране может начаться процесс демократизации. Но Сталин хитро разыгрывал свою партию. Бухарин считал, что Сталин может уничтожить его политически – ну и ладно. Но Николай Иванович полагал, что, будучи человеком талантливым, не пропадет. Так ему казалось. Он думал, что сможет работать биологом. Это его не пугало”. Видимо, единственной, кто предвидел судьбу Бухарина, была гадалка в Берлине в 1918 году, которая сказала: “Вы будете казнены в вашей собственной стране”.

К концу 1936 года уже стало ясно, что Сталин готовится начать массовые репрессии в отношении своих врагов. В волне этих репрессий погибнут миллионы – политические соперники (реальные и мнимые), военные руководители и обычные люди. Бухарин больше не питал иллюзий относительно собственного благополучия. После заседания пленума, на котором стало ясно, что его вот-вот арестуют, Бухарин пришел домой, сел за стол и написал письмо из восьми пунктов, которое показал жене. “Он прочитал мне его, понизив голос. Мы знали, что комнаты прослушиваются, – рассказывала Ларина. – Я должна была повторять каждую фразу, чтобы заучить письмо наизусть. Он боялся, что, если это письмо найдут при обыске, я могу пострадать. Он не мог представить себе, что меня все равно арестуют”.

Со слезами на глазах Бухарин на коленях умолял Ларину не забыть текст письма. Когда читаешь его сегодня, кажется будто оно адресовано непосредственно Михаилу Горбачеву.

“Ухожу из жизни. Опускаю голову не перед пролетарской секирой, должной быть беспощадной, но и целомудренной. Чувствую свою беспомощность перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, методами средневековья, обладает исполинской силой... <...> В эти, быть может, последние дни моей жизни я уверен, что фильтр истории рано или поздно неизбежно смоет грязь с моей головы. <...> Прошу новое, молодое и честное поколение руководителей партии зачитать мое письмо на Пленуме ЦК, оправдать и восстановить меня в партии. Знайте, товарищи, что на том знамени, которое вы понесете победоносным шествием к коммунизму, есть и моя капля крови!”

Ларина слушала мужа с ужасом, но письмо выучила и никогда не забывала.

Суд над Бухариным был выдержан в сюрреалистическом духе. ЦК уже вынес приговор за 13 месяцев до суда, указав: “Арестовать, допросить, расстрелять”. Государственный обвинитель на политических процессах в годы сталинских чисток Андрей Вышинский сравнил Бухарина с Иудой Искариотом и Аль Капоне, назвал его “проклятой помесью лисы и свиньи”, обвинил его в создании антисталинского блока, шпионаже в пользу иностранной разведки, участии в заговоре с целью убийства Ленина. “Могила ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом... – предрек Вышинский в зале суда. – А над нами, над нашей счастливой страной, по-прежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солнце. Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге, во главе с нашим любимым вождем и учителем – великим Сталиным – вперед и вперед к коммунизму!”

Лариной в зале суда не было. Ее арестовали как “жену врага народа” и выслали в Астрахань. Это было начало ее двадцатилетних скитаний по российским лагерям и ссылкам. Их годовалого сына Юрия взяли на попечение родственники. Ребенком его Анна больше не увидела. Что до самого Бухарина, то Анна с момента его ареста знала, что он погиб.

На суде Бухарин повел с Вышинским игру, языковую и этическую, признавая справедливость общих обвинений, но отрицая их каждый отдельный пункт. Сразу признав вину в общей форме, Бухарин попытался превратить свой процесс в контрпроцесс, в осуждение сталинского режима – разумеется, используя принятый в партии язык, с фигурами умолчаний и эвфемизмами. Фицрой Маклин<sup>30</sup>, в ту пору сотрудник британского посольства, присутствовал на суде и счел, что Бухарин своим признанием оказывал “последнюю услугу” партии. Такой же взгляд лег в основу романа Артура Кёстлера “Слепящая тьма”. Коэн, впрочем, полагает, что Бухарин признал вину, чтобы спасти жену и ребенка, но своими показаниями ясно давал понять, что ни в чем не виноват.

Пока Ларина сидела в астраханской камере, Маклин был свидетелем спектакля в Колонном зале. “Вечером 12 марта Бухарин встал, чтобы произнести последнее слово. Вновь значительностью своей личности, своим интеллектом он привлек к себе общее внимание. На него смотрели ряды напыщенных, самоуверенных и враждебных людей, коммунистов новой формации, не революционеров в прежнем смысле слова, а адептов существующего порядка, с глубоким недоверием относящихся к опасным мыслям... Он стоял перед ними, слабый, но несломленный, последний представитель исчезнувшей породы людей, сделавших революцию, которые боролись и отдавали жизни за свои идеалы и теперь предпочли отречению быть уничтоженными собственным творением”.

---

<sup>30</sup> Сэр Фицрой Маклин (1911–1996) – британский политик, дипломат, прославленный участник Второй мировой войны, автор книги “Восточные подходы” о жизни в СССР, в том числе о путешествиях по центральноазиатской части страны. Считается одним из прототипов Джеймса Бонда.

13 марта 1938 года, в 4:30 утра, после шестичасового “совещания”, Бухарина приговорили к смерти. Если верить свидетельству о смерти, его казнили 15 марта. Место и способ казни в документе не указаны.

Когда 50 лет спустя у себя дома Ларина вспоминала те ужасные дни, ее глаза наполнялись слезами. Она не знала, где был убит и похоронен ее муж, но, скорее всего, как и многих московских жертв Большого террора, его расстреляли в лубянской тюрьме и кремировали в Донском монастыре.

Из тюрьмы Анна написала письмо Сталину: “Иосиф Виссарионович! Через толстые стены тюрьмы я смотрю вам в глаза прямо. Я не верю в этот чудовищный процесс. Зачем вам понадобилось губить Н. И., понять я не могу”. Это письмо, вероятно, до Сталина не дошло. Тюремщики Лариной уведомили ее, что ее освободят, если она отречется от Бухарина. Она отказалась. В тюрьме она провела восемь лет, а в ссылке оставалась до конца 1950-х, когда у власти уже давно был Хрущев. Много лет она прожила в Сибири, рядом со свинофермой.

Когда власти наконец разрешили сыну навестить ее в ссылке, Юрию уже было 20 лет. Он не знал, кто его отец. Анна и Юрий договорились встретиться на железнодорожной станции в сибирском поселке Тисуль. В то утро на платформе Анна высматривала лицо со знакомыми чертами, своими или Бухарина. Но Юрий узнал ее первым. Они обнялись, и уже через несколько секунд он задал ей вопрос: кто его отец?

“Каждый день я откладывала ответ на потом, – с улыбкой вспоминала Анна. – Тогда он сказал: «Я попробую угадать, а ты только отвечай – да или нет»”.

Дед и бабушка Юрия уже рассказали ему, что он был сыном одного из вождей революции. Но чьим? Троцкого? Радека? Каменева? Зиновьева? Когда он наконец назвал Бухарина, Ларина просто ответила: “Да”.

“Я сказала Юре, чтобы он никому рассказывал, – вспоминала она. – Если спрашивали, он говорил друзьям, что его отец был профессором”.

В тюрьме Анна не рискнула записать завещание своего мужа. Вместо этого по ночам, лежа в своей камере, она повторяла его “как молитву”. Но к тому времени, как она вернулась домой – ослабевшая, больная туберкулезом, – Хрущев уже произнес свою речь с разоблачением сталинского культа личности. И тогда она записала предсмертное обращение Бухарина. “Наконец-то, – говорила она. – Я должна была снять с себя эту ношу”.

Ларина жила в Москве с матерью, которая тоже отсидела в тюрьме и была больна, и Юрием, у которого диагностировали опасную опухоль. Втроем они жили на крохотную пенсию Анны. “Несмотря на все мои мучения, на лагеря, я всегда думала, что мы это переживем, что весь этот ужас – наносное, и социализм в конце концов победит. Я всегда понимала, что большевизм был уничтожен одним человеком – Сталиным”.

При Хрущеве Ларина пыталась добиться реабилитации мужа. Позже, в отставке, надиктовывая свои мемуары, Хрущев признавался, что жалеет о том, что отклонил ее прошение. На рубеже 1960–1970-х Бухарин стал почти культовой фигурой для относительно либеральных коммунистических партий в Европе, особенно в Италии. Но в Москве на Брежнев и его идеологов-неосталинистов надежды было мало. Анне Лариной снова приходилось ждать.

5 февраля 1988 года Министерство иностранных дел сообщило, что свидетельские показания, которые легли в основу процессов 1938-го, были получены “с применением незаконных методов”, а материалы дел были “сфабрикованы”. Бухарина и еще 19 большевистских лидеров реабилитировали. Партия невероятно гордилась собой. “Я уверен, что мы присутствуем при великом и благородном событии”, – произнес дипломат Геннадий Герасимов, который объявил о реабилитации в пресс-центре МИДа.

В газетах всего мира эта новость прошла на первых полосах, и неслучайно. Реабилитация Бухарина стала не столько актом милосердия или справедливости, сколько теоретическим обоснованием реформистских принципов горбачевской перестройки. Троцкого, призывавшего к “перманентной революции”, в таком виде представить было никак нельзя, и пока режим не рухнул, о его официальной реабилитации речи не было<sup>31</sup>.

Имя Бухарина, некогда упоминавшееся в советских учебниках истории в одном контексте с Николаем II и Гитлером, теперь прославлялось. Вспомнили о прозябавшей в забвении Анне Лариной: она дала много интервью, появлялась на “бухаринских вечерах”. Однажды в Музее революции на улице Горького я видел, как Ларина вдвоем с Коэном осматривала новую выставку, посвященную Николаю Бухарину. Здесь были документы Бухарина, его личные вещи, даже его акварели.

“Я верила, – говорила Ларина. – Я верила. Я писала письмо за письмом. Я не сдавалась. Но я не очень надеялась, что это произойдет при моей жизни. Николай Иванович страдал, потому что думал, что погубил мою жизнь. Для него это было ужасно. Он так любил меня!”

---

<sup>31</sup> По обвинениям 1927 года Троцкий был реабилитирован в 1992 году, по обвинениям 1929 и 1932 годов – в 2001-м.

## Глава 6 Ниночка

Короткий период, позволивший Анне Лариной возликовать, быстро сменился начавшимся переворотом. Пока без солдат и танков – это ждало впереди. Пока была тихая контрреволюция, которую общество едва ли замечало. В высших партийных эшелонах шли бои по поводу важнейших идеологических и исторических вопросов. Свои следы контрреволюция оставляла пока только на бумаге: то в скучнейшей пьесе о Ленине, то в газетной полемике... Но, если бы “ползучий переворот” удался, реформаторский порыв вновь бы заглох – возможно, на долгие годы. Процесс обновления был, как и 30 лет назад при Хрущеве, обратим.

Консерваторам в КПСС было не до образцов высокого искусства. Их не занимали стихи Иосифа Бродского или проза Андрея Платонова. Их больше волновало распространение инакомыслия в виде карикатур, газетных статей, телевизионных программ и театральных постановок. Иными словами, они беспокоились о тех же “массах”.

В январском номере “Знамени” за 1988 год вышла пьеса Михаила Шатрова о Ленине и Сталине “Дальше... дальше... дальше!”. Западному читателю пьеса представлялась еще одним произведением классической “ленинианы”, формой тетрализованной пропаганды и ритуального восхваления, канон которого еще в 1936 году был определен ЦК. Это был большевистский вариант средневековых жанров, мистерии или страстей, сакраментальное повествование о явлении спасителя, его деяниях и посмертной славе. В пьесе Шатрова, как и во всех подобных пьесах, совершенно картонные персонажи выходили на авансцену и произносили длинные монологи.

Однако партийным идеологам под предводительством Егора Лигачева было ясно, что миллионы русских людей почувствуют в шатровском произведении налет ереси. Они увидят в нем разоблачение Сталина, погубившего все то хорошее, что сделал Ленин. Современная советская жизнь предстанет перед ними как результат трагической неудачи, а руководители страны – как наследники тирана. Они почувствуют, что пьеса прославляет “либерального Ленина”, революционера с мягким сердцем, который ушел “слишком рано”. Ключевой момент в пьесе – сцена, когда Роза Люксембург читает вслух письмо, написанное ею в 1918 году в немецкой тюрьме. Она славит большевистскую революцию, но предсказывает грядущую катастрофу:

“Без общих выборов, свободы печати и собраний, свободной борьбы мнений в любом общественном институте жизнь затухает, становится лишь видимостью, и единственным активным элементом этой жизни становится бюрократия. Общественная жизнь постепенно погружается в спячку: управляют всего лишь несколько десятков очень энергичных и вдохновляемых безграничным идеализмом руководящих партийных деятелей. Истинное руководство находится в руках этого десятка руководителей, а рабочая элита время от времени созывается лишь для того, чтобы аплодировать выступлениям вождей и единогласно голосовать за заранее заготовленную резолюцию, таким образом, в сущности, это власть клики: конечно же, их диктатура – это не диктатура пролетариата, а диктатура горстки политиков. <...> Социализм без политической свободы – не социализм. <...> Свобода только для активных сторонников правительства... это не свобода”.

На что шатровский Ленин восклицает: “Браво, Роза!”

Это поразительный момент. Шатров сценически оформил новую, санкционированную, горбачевскую версию истории. Ах, если бы Ленин не умер! Всеобщая толерантность, светлое будущее! С исторической точки зрения это, конечно, была полная ахинея. Хотя пророчество Люксембург сбылось во всех деталях, Ленин, пропагандирующий большевистский Билль о правах, – это чистая фантазия. Ленин разработал концепцию государственного тер-

рора. В январе 1918 года он приказал матросам Балтийского флота разогнать законно избранное Учредительное собрание (на многопартийных выборах большевики проиграли). В 1921 году Ленин уничтожил официальную оппозицию – даже внутри Коммунистической партии. Но все это были только факты, детали. Какое они имели значение? Интерпретация истории всегда была в СССР делом политическим, и Шатров с Горбачевым могли позволить себе искажать факты, раз мораль в пьесе была полезной. Цель, в конце концов, была благородная: дискредитировать Сталина и сталинизм. Другие вопросы могли подождать.

Шатров, человек одного поколения с Горбачевым, не просто симпатизировал идее социалистической “альтернативы” – он был с нею родственно связан. В 1937 году, когда будущему драматургу было пять лет, его дядю Алексея Рыкова, бывшего председателя Совета народных комиссаров, арестовали. Рыкова приговорили к смерти вместе с Бухариным. Отца Шатрова также арестовали и расстреляли. Через 12 лет и его мать посадили в тюрьму – как жену “врага народа”. Шатров, сын и племянник репрессированных большевиков, учился не в престижном университете, а в Горном институте. Писать он начал, преследуя определенную политическую цель. Имея под рукой такой мощный инструмент, как ритуальная драма о Ленине, он понемногу расшатывал границы, вводил в текст намеки, реабилитировал по своему усмотрению одних и обвинял других. Подобно поэту Евгению Евтушенко, Шатров был тщеславен и иногда громко похвалялся своей дерзостью; как и Евтушенко, он пользовался привилегиями и покровительством партийных бонз. Шатров жил в огромной квартире в знаменитом Доме на набережной, который некогда был цитаделью партийной элиты. Его квартира была обставлена антикварной мебелью. Он был соседом Пастернака в Переделкине – подмосковном дачном поселке, где летом и на выходных отдыхала культурная элита. Но, несмотря на все шатровские привилегии, серые аппаратчики его презирали. Писал он топорно, мыслителем был невыдающимся; по сравнению с ним Нил Саймон<sup>32</sup> – Еврипид. Зато Шатров оказался настолько политически искусен, что составил себе репутацию драматурга, пишущего смелые пьесы!

8 января на встрече руководителей партии с главными редакторами газет главред “Правды” Виктор Афанасьев критически отозвался о пьесе Шатрова, доложив Горбачеву, что ее текст изобилует “неточностями”, которые “очерняют” советскую историю. Как и большинство членов ЦК, Афанасьев был реликтом брежневской эры, сам называл себя философ-марксистом и имел аристократическое хобби: водные лыжи. Он не был редактором в западном смысле этого слова. Как глава партийного органа Афанасьев был чрезвычайно влиятельной фигурой в коммунистической иерархии, входил в состав ЦК и часто присутствовал на заседаниях политбюро. “Разумеется, я там не голосую”, – говорил он мне. Но на столе у него стоял телефон кремового цвета, связывавший его с абонентом номер один. На аппарате не было ни кнопок, ни наборного диска. Только надпись: “Горбачев”. “Я просто поднимаю трубку, и меня соединяют”, – пояснял он.

В данном случае Горбачев явно держался другого мнения, чем Афанасьев. Однако через два дня после встречи с партруководством в “Правде” вышла разгромная статья о Шатрове. Драматурга обвиняли в “неточностях” и nepозволительных “передержках”.

1 февраля в отдел писем “Советской России”, еще одной партийной газеты, отличавшейся особым консерватизмом, поступило письмо читательницы – ленинградской преподавательницы химии, члена партии с двадцатилетним стажем Нины Андреевой. Андреева соглашалась с отрицательной рецензией на пьесу Шатрова, опубликованной в той же “Советской России”, и добавляла, что в Советском Союзе и за рубежом формируется “тенденция фальсифицирования истории социализма”. Андреева писала, что, судя по пьесе, автор поступился “марксистско-ленинскими принципами” и игнорирует “объектив-

<sup>32</sup> Нил Саймон (р. 1927) – американский драматург и сценарист.

ные законы истории”, “руководящую роль партии, рабочего класса в социалистическом строительстве”.

В первых числах марта главный редактор “Советской России” Валентин Чикин пришел в кабинет своего сотрудника Владимира Денисова со стопкой листочков. Денисов был редактором отдела науки, но недавно его перебросили на идеологию. У него были связи. Он много лет проработал в Томске, когда первым секретарем Томского обкома был Егор Лигачев.

“Прочтите, – сказал Чикин и дал Денисову фотокопию письма Андреевой. – И скажите свое мнение”.

Денисов знал, что Чикин, конечно, уже принял решение. Чикин был не из тех людей, кого волнует мнение подчиненных.

Письмо начиналось с резкой критики Шатрова. В этом, в общем, ничего особенного не было. “Советская Россия”, выражавшая настроения самых консервативных коммунистов, после публикации “Дальше... дальше... дальше!” в “Знамени” получала много таких писем. Но тут, как вспоминает Денисов, Чикин решил объяснить подоплеку. Он рассказал Денисову, что пересылает такие письма Лигачеву, в идеологический отдел ЦК. По словам Чикина, Лигачев позвонил ему по защищенной кремлевской линии связи – по “вертушке” – и спросил: “Валентин, что ты собираешься делать с этим письмом? Его нужно напечатать в газете!”

Позднее Лигачев свое участие отрицал. Несколько лет спустя он устроил целое представление, рассказывая о своей роли в “истории Нины Андреевой”. Неизменно говоря о себе в третьем лице, Лигачев отпирался, как вор, пойманный с поличным. “Я готов отвечать на все вопросы, – сказал он мне. – Во-первых, что касается публикации этой статьи, Лигачев здесь ни при чем. Лигачев, как и все читатели, узнал о статье Нины Андреевой из газеты «Советская Россия»”.

Но, если верить Денисову, на самом деле Лигачев не только “посоветовал” Чикину напечатать статью, но и вернул ему текст со своими замечаниями, подчеркнув несколько фраз.

Однако текст следовало отредактировать, отточить, расширить. Чикин командировал Денисова в Ленинград, чтобы найти Андрееву и вместе поработать над письмом. 8 марта Денисов позвонил Андреевой и предложил встретиться на следующий день. Она назначила встречу на площади перед институтом, где преподавала.

– Как я вас узнаю? – спросил он.

– Я вас сама найду, – ответила она.

9 марта поезд Денисова прибыл в Ленинград ранним утром, много раньше назначенного времени. Впрочем, невыспавшийся Денисов мог ни о чем не тревожиться. Кто-то забронировал ему номер в шикарной гостинице “Смольнинская”, где останавливались партийные боссы. Вряд ли рядовая преподавательница химии могла бы это сделать. Тут явно не обошлось без вмешательства ЦК, который не собирался пускать дело на самотек.

Отдохнув, Денисов в условленное время пришел на площадь. Сзади его окликнули:

– Вы Денисов?

– Я Денисов.

– Тогда пойдете, – сказала Нина Андреева.

Весь день они редактировали письмо, подробно раскрывая его тезисы. Денисов, сам отнюдь не либерал, консерватизму Андреевой поразился.

– Я сталистка, – сообщила она ему таким же будничным тоном, каким американец, например, скажет: “Я демократ”.

– А как же вы оцениваете сталинскую экономику? – спросил Денисов. – Разве она не доказала свою нежизнеспособность?

– Напротив. Ей просто не дали показать, на что она по-настоящему способна.

Денисов решил не спорить. В конце концов, рассудил он, статья будет подписана именем Андреевой, а не его.

На другой день, 10 марта, Андреева передала Денисову новые дополнения к статье, отпечатанные на машинке. Такая скорость его удивила, – и совершенно напрасно: Нина Андреева была в каком-то смысле литератором. За несколько лет до того ее исключили из институтской партийной организации за анонимные доносы на коллег, допустивших разные идеологические прегрешения. В последнее время она отправляла письма в “Правду”, “Советскую культуру” и другие газеты. В этих письмах она критиковала горбачевский курс. Когда Денисову пришло время возвращаться в Москву, Андреева сказала ему: “Вы и редакция можете вносить любые изменения, какие сочтете нужными. «Советская Россия» – не та газета, которая исказит ход моих мыслей”. Затем она спросила, действительно ли ее статью опубликуют.

– Я в этом уверен, – ответил Денисов. Почему он был так уверен, он Андреевой не сказал.

Наутро в редакции Чикин осведомился: “Ну что, привез?” Главный редактор волновался, как школьник в день рождения.

– Привез, – сказал Денисов.

– Отлично. Ставим в воскресный номер.

Статья, таким образом, должна была выйти уже через два дня, 13 марта. Горбачев как раз отправлялся в важную поездку в Югославию, а Александр Яковлев, идеологический оппонент Лигачева, – в Монголию. В отсутствие Горбачева Лигачев становился в политбюро первым среди равных. В ЦК его власть была еще значительней. Горбачев назначил его управляющим кадрами, и в ЦК десятки людей были обязаны Егору Кузьмичу Лигачеву своим положением.

Чикин самолично придумал заголовок статьи: “Не могу поступаться принципами”. Андреева, не скрывая иронии, использовала эту фразу, взятую из горбачевской речи на февральском пленуме ЦК 1988 года: “Мы должны... действовать, руководствуясь нашими, марксистско-ленинскими принципами. Принципами, товарищи, мы не должны поступаться ни под какими предлогами”.

На субботней летучке Чикин объявил, что ставит статью Андреевой на третью полосу воскресного выпуска. Никто не обратил на это особого внимания. День в редакции был расслабленный, можно было поболтать, попить чаек, не забывая при этом о производственном процессе. Некоторые редакторы даже не удосужились прочитать гранки. И зря. Текст, занявший целую полосу, противоречил всему, что целый год говорили Михаил Горбачев, Александр Яковлев и либеральная интеллигенция. Как впоследствии сказал Яковлев, статья Андреевой была “ничем иным, как призывом к оружию, контрреволюция”.

“Ставшая дежурной тема репрессий гипертрофирована в восприятии части молодежи, заслоняет объективное осмысление прошлого”, – писала Андреева. Конечно, у Сталина были “ошибки”, но кто еще мог бы так быстро мобилизовать целую страну, подготовить ее к великой победе над нацизмом? По мнению Андреевой, Советский Союз поразили “идейная путаница, смещение политических ориентиров, а то и идеологическая всеядность”. Разумеется, крепко досталось Шатрову, который “существенно отходит от принятых принципов социалистического реализма”.

“Они внушают нам, что в прошлом страны реальны лишь одни ошибки и преступления, замалчивая при этом величайшие достижения прошлого и настоящего”, – писала Андреева.

Был здесь и довольно прозрачный антисемитский подтекст, намеки на Троцкого, эмигрантов и интеллигенцию. “Слов нет, время то [сталинская эпоха] было весьма суровым. Но... <...> мы... готовили молодежь... к Труд и Обороне, не сокращая духовный мир моло-

дых чуждыми шедеврами из-за «бугра» и доморощенными поделками масскультуры. Мнимые родственники еще не спешили зазывать своих соплеменников в «землю обетованную», превращая их в «отказников» от социализма”.

Статья вышла в воскресенье, 13 марта. Уже через несколько часов в редакцию “Советской России” начали приходить телеграммы со словами поддержки от ветеранов войны и местных партийных организаций. Чикин с гордостью говорил Денисову, что даже военный советник Горбачева – маршал Сергей Ахромеев – позвонил сказать, что “целиком поддерживает” статью.

В тот же день в родном для Лигачева Томске состоялась премьера пьесы Шатрова. Началась великая битва за историю.

Утром 14 октября, пользуясь тем, что Горбачев улетел в Белград, Лигачев на правах главного идеолога созвал совещание редакторов главных газет и директоров новостных агентств. Не были приглашены только двое самых известных либеральных редакторов: Егор Яковлев из “Московских новостей” и Виталий Коротич из “Огонька”. Чикин вернулся из Кремля сияющий. Он пересказал Денисову и другим начальникам отделов слова Лигачева, рекомендовавшего всем прочесть статью Андреевой, “во всех отношениях замечательный документ”. Кроме того, Лигачев дал указание директору ТАСС разослать во все провинциальные газеты сообщение, что партийное руководство “рекомендует” перепечатать письмо Андреевой. Кстати, добавил Лигачев, он надеется, что вскоре ЦК примет резолюцию, которая “не допустит дестабилизации в стране”.

“Я был в Монголии, Михаил Сергеевич – в Югославии, – несколько лет спустя вспоминал Александр Яковлев в телепередаче. – Мне позвонили из Москвы и рассказали о статье. Мне ее быстро переслали: мой помощник позвонил в Иркутск, мне отправили газету, я прочел. Моя реакция была вполне понятной... <...> Я знал, как работает аппарат. Разумеется, это было санкционировано. Такая статья не могла появиться без санкции руководства, потому что это был настоящий манифест антиперестроечных сил. Целью было повернуть вспять все то, что было задумано еще в 1985 году. Больше всего меня удивила форма, в которой это было сделано... Та самая, сталинистская, обвинительная, в стиле передовиц старых советских газет. Другими словами, кто-то дал команду. Если бы это было просто перечисление подобранных фактов, я бы не обратил внимания. Но это был внятный окрик: «Стоп! Перестройке конец!» Я в тот же день вернулся в Москву”.

В следующие три недели, пока в политбюро шли внутренние баталии, либеральная интеллигенция впала в уныние. Главред “Огонька” – в шутку, но лишь отчасти – говорил друзьям, что уже собрал вещи на случай, если в дверь постучат. Несколько редакторов сказали Александру Яковлеву, что хотят ответить на публикацию. Яковлев уклончиво просил их подождать.

На открытый протест решился только один человек. 23 марта друг Шатрова драматург Александр Гельман выступил на партсобрании в Союзе кинематографистов и заявил, что неосталинистский выпад “Советской России” был нужен для того, чтобы продлить благополучное существование нынешней системы и миллионов партийных бюрократов. Гельман говорил, что партийные аппаратчики хотели лишь косметического ремонта системы: умеренной технологической либерализации, а не подлинной демократизации и перераспределения власти. Но такая либерализация, по его словам, была бы пшиком, игрой понарошку и имитацией, как обычно и бывало. Союз кинематографистов, на то время самый либеральный творческий союз Москвы, поддержал выступление Гельмана и направил его текст в ЦК.

Однако в провинции редакторы восприняли статью Андреевой как официальный знак смены курса, и очень немногие отважились проигнорировать его. Как и рассчитывал Лигачев, статью растиражировали газеты по всей стране. Подтверждение того, что старая комму-

нистическая гвардия была на стороне Лигачева, пришло аж из Восточного Берлина: 2 апреля статья “Не могу поступаться принципами” была перепечатана в *Neues Deutschland*, гэдээровской “Правде”. Московский горком тоже, кажется, занялся подпольной агитацией. По сообщениям “Московских новостей”, консерваторы распространяли анонимные листовки, одна из которых, названная “Информацией к размышлению”, утверждала, что перестройка приведет к “экономической катастрофе, общественным беспорядкам, а затем к порабощению страны империалистическими государствами”.

“Это были чудовищные дни, – вспоминал главный редактор «Московских новостей» Егор Яковлев. – На чаше весов было все, на что мы надеялись и о чем мечтали”.

За всем этим сама Нина Андреева совершенно выпала из поля зрения.

Нина Александровна Андреева жила под Ленинградом – в Петергофе, на улице Коминтерна<sup>33</sup>. Целыми днями автобусы доставляли туристов к царскому летнему дворцу, примерно в километре от ее дома. Но ее улица Коминтерна была тихой. Магазины были пусты. В неподвижном воздухе сильно пахло бензином.

Я постучал в дверь.

Андреева открыла и пригласила меня зайти. Она совершенно не походила на человека, склонного к полемике, по крайней мере внешне. Короткая стрижка, волосы зачесаны вверх и назад, полное лицо с глубоко посаженными узкими глазами. Она напоминала скорее старшую медсестру – матрону лет 50, в накрахмаленном халате, вечно сердитую, но при необходимости старающуюся быть дружелюбной. Я позвонил ей заранее, но она, видимо, забыла мою фамилию. Я напомнил. С натянутой улыбкой она повторила ее по слогам – очевидно, ища намек на мое этническое происхождение, с ударением на каждом слоге, пытаюсь нащупать хоть что-то знакомое. Впрочем, вопросов она из вежливости задавать не стала. Оставив в покое мою фамилию, она улыбнулась и пригласила гостя за стол, где ждал чай и конфеты.

По дороге я решил, что не стоит нарушать сложившийся обычай, называющийся “иностронец в гостях у русских”. Уж что-что, а приверженцем традиций Нина Андреева была. Так что я вручил ей коробку немецкого шоколада и бутылку бордо за семь долларов.

– Как мило, – сказала Нина Александровна.

Я никогда еще не бывал в такой маленькой квартире. Крошечная кухня, рядом – комната размером с большую двуспальную кровать: одновременно гостиная, столовая и спальня. Везде были книги – история партии и прочее в таком роде. Еще стояла внушительная коробка с письмами. Семь тысяч писем, сказала Андреева, и почти все со словами поддержки.

Какое-то время разговор перескакивал с одного на другое, тыкаясь в разные темы, как оса, попавшая между стеклами двойной рамы. Поездка на поезде из Москвы. Погода. Дешевизна книг. Опять поезд. Наконец, мы почему-то заговорили о рок-н-ролле.

– Вам он нравится? – спросил я.

Глаза Нины Александровны возмущенно расширились. “Рок” – это просто “бессмысленный ритм”, а песни – вообще “полуживотные, непристойная имитация полового акта”. В ленинградских журналах она прочла о певце по имени Юрий Шевчук.

– У него есть песня “Предчувствие гражданской войны”. Что это значит?! Я видела его фотографию, он там танцует. На нем обрезанные джинсы и какая-то расстегнутая жилетка, пупок торчит! Хорошо, пускай поет, но извините, у него же все нараспашку, видна грудь, а внизу выпирает мужское достоинство! И вот он пляшет и мотает туда-сюда своим хозяйством на глазах молодых девушек! О какой чистоте нравов может идти речь?

Вопрос повис в воздухе. Нина Александровна продолжила свои рассуждения.

---

<sup>33</sup> Ныне Разводная улица.

– Может, нам и не нужна железная рука, но в любом государстве должен быть порядок, – произнесла она, повысив голос, как того требовала серьезная тема. – Сейчас у нас не государство, а какое-то сборище анархистов. Где есть такое сборище, там нет ни государства, ни порядка, ничего. Государство – это прежде всего порядок, порядок и порядок.

В Советском Союзе давно забыли об общественной жизни. Вот если бы Михаил Горбачев был политиком в конце 1920-х и ратовал бы в Москве за приватизацию крестьянских хозяйств, демократические реформы в правительстве и коммунистической партии, за свободный рынок и прочие прелести продуктового набора “перестройка”, его бы, как Бухарина, сочли правым уклонистом. А потом поставили бы к стенке.

– Теперь “правое” стало левым, “левое” правым, никто уже ничего не понимает. Кто есть кто? – вопрошала Нина Александровна и закатывала от возмущения глаза, как делают подростки.

Подсевший к нам за журнальный столик муж Андреевой – Владимир Иванович Клущин, мучнисто-бледный преподаватель “марксистско-ленинской теории”, то и дело вмешивался в разговор, пока в конце концов его жена, вновь нащупав нить, не велела ему замолчать. Он попытался вставить свои пять копеек в рассуждение о “левом” и “правом”, но она не позволила.

– Володя, помолчи. Я сама скажу. – И продолжила: – Так вот, если бы Бухарин стал нашим вождем, не было бы нынешнего Советского Союза. Советский Союз был бы полностью разрушен во время Второй мировой войны. Бухарин как личность был неплохим, вообще был хорошим человеком. Ходил со своими студентами на лыжах, с ним каждый мог поговорить. Но ему недоставало характера и принципов. Он был за колхозы, но за постепенный переход к ним. Он бы затянул этот переход до 50-х годов. А если бы к началу 30-х у нас не было колхозов, в 1941-м нас бы уничтожили. Стерли с лица земли.

С этими словами Нина Александровна криво улыбнулась, налила всем чаю и по рюмочке коньяка. С 1985 года, продолжала она, вся страна ждет результатов горбачевских реформ. И где они?

– За четыре года, что у власти был Ленин, в стране произошла революция, мы победили в Гражданской войне и прогнали иностранных интервентов. За четыре года при Сталине народ отразил нацистскую агрессию и стал частью мирового авангарда. Примерно за такой же срок мы залечили раны, оставленные войной, и вышли на довоенный уровень производства.

А что перестройка, это “детище либеральной интеллигенции”? Надувательство!

– Создается политическая структура антисоциалистического движения – через демократические объединения, народные фронты. Множатся экологические катастрофы. Уровень нравственности упал. Возник культ денег. Престиж честного, производительного труда сведен на нет. Мы ухудшили положение наших социалистических братьев. Польша и Венгрия, опережая нас, катятся в пропасть.

Именно ужас, страшное сознание того, что страна сбилась с пути и летит в бездну, заставили Нину Александровну Андрееву написать свое знаменитое письмо. Она по-своему защищала “традиционные ценности” – дорогие для всякого сталиниста коллективизацию, авторитарную власть, диктатуру пролетариата. Она сказала, что задумалась о письме, прочитав две статьи Александра Проханова, одну на политические темы в “Литературной России”, а другую об Афганистане в “Ленинградском рабочем”. Проханов романтизировал афганскую авантюру, которую рассматривал как великую имперскую миссию. Андреевой его статьи понравились, но все же, по ее словам, их было “недостаточно”.

Оставив меня со своим мужем, Нина Александровна повязала вокруг объемистой талии передник и удалилась на кухню, где принялась готовить грандиозный обед: салаты,

жареная картошка, овощи, мясо. Иногда она заглядывала в комнату, чтобы уточнить какие-нибудь слова мужа.

Нина Александровна готовила, в комнате запотевали окна, а Владимир Иванович взбодрился. При жене он все-таки в основном молчал, успев усвоить, что она – человек известный и суровый. Но в ее отсутствие он мог не сдерживать себя. Когда он произнес длинную тираду об “огромном значении Сталина”, мне показалось, что он говорит и за себя, и за супругу. Она о Сталине высказывалась сдержанно, но Владимир Иванович мог не стесняться. Он не был знаменит и мог позволить себе говорить невозбранно.

– Что молодое поколение узнает из либеральных журналов, из “Юности” и “Огонька”? Что Сталин был параноиком, садистом, бабником, пьяницей, преступником. Они его сравнивают с Мао Цзедунем, как будто при Сталине не было никаких достижений. Что касается репрессий, то я не знаю их истинных масштабов. Сегодня люди могут с потолка взять любую цифру. Когда Хрущев работал в комиссии, расследовавшей те дела, он обнаружил, что в нашей стране было репрессировано 870 тысяч человек. Это много, но не миллион, и не 20 миллионов, и не 50, как утверждают некоторые. Сейчас все строится на выдумках и фантазиях. Послушайте, – строго продолжил он, – в борьбе всегда есть жертвы. Но я в 1943 году был на фронте. Я знал простых солдат, офицеров. И они к Сталину относились по-другому... Большая часть наших крестьян, интеллигентов – они уважали Сталина. На любом празднике первый тост поднимали за Верховного главнокомандующего, за Сталина. Никто их не принуждал. У меня у самого отца репрессировали по 58-й статье. И что?

Владимир Иванович рассказал, как его отец, инженер, во время войны разболтал “какую-то государственную тайну”. За это его отправили в лагерь на десять лет. Это было суровое наказание “за болтовню”, признал Клушин, “но, в конце концов, он же был виноват!”

– Вот вы, – он показал на меня пальцем, – вы представляете молодое поколение. Спросите у своих родителей, они, может быть, воевали. В то время человеческая жизнь не ценилась так, как сейчас. У нас в стране война шла с 1914 года по 1917-й. Потом опять – с 1918-го по 1921-й. В военное время в случаях, когда было бы достаточно простого наказания, людей расстреливают. Это очень жестоко... но, если бы не эта жестокость, все бы просто разбежались в разные стороны. Иногда жестокость бывает оправданной.

Обед был с пылу с жару, сытный и долгий. Я давно убедился, что русские реакционеры превосходно готовят. Нина Александровна стряпала исключительно. С учетом того, что в Ленинграде продуктов почти не было, а в провинции дела обстояли еще хуже, этот обед казался чудом.

Отдав должное своей готовке, Нина Александровна откинулась на спинку стула и стала рассказывать о своей жизни.

“Я родилась 12 октября 1938 года в Ленинграде, в простой семье, – начала она. – Меня крестили, я до сих пор помню, как на Пасху звонили колокола. Чувство было, как будто тебя уносят прямо в небо. Но я реалист. Религия – просто прекрасная сказка о том, что, отстрадав на земле, нам потом будет лучше. А коммунизм основан на твоих реальных действиях, на том, что ты сегодня сделал.

Мои родители были крестьяне из Калининской области, это Центральная Россия. В 1929 году, когда начался голод, они уехали в город. Мой отец, моя мать и мой старший брат влились в ряды пролетариата. У моего отца было всего четыре класса образования, а у матери еще меньше. Семья моей матери считалась зажиточной. У них было десять человек детей, лошадь, лодка с маленьким мотором. Коровы тоже были, но дети всегда ходили полуголодные.

Когда началась война, мама рыла окопы в Ленинграде. Она и одна из моих сестер работали в госпитале, куда привозили раненых солдат. Меня, трехлетнюю, эвакуировали вместе

с двумя моими братьями и их классом. Мама уехала из Ленинграда на последнем поезде. После этого всякая связь с Ленинградом прервалась.

Моя старшая сестра ушла на фронт и погибла в 1943-м в Донбассе. Ее муж, комиссар противотанкового дивизиона, погиб через неделю после нее. Мой отец воевал на Ленинградском фронте. Старший брат тоже воевал.

До 1944 года мои сестры, мама и я жили в Угличе. У нас была комната в коммунальной квартире, 22 или 24 метра, но там, кроме нас, жили еще две семьи. Был стол – я не понимала, почему его не пустят на растопку, – кровать без белья. И все. Ни тарелки, ни ложки, ни стакана. Абсолютно пусто. Мы не падали духом, повесили в красный угол портрет Ленина – туда, куда православные вешают иконы. А потом к нам пришли и сообщили, что брата и отца, служившего в артиллерийском дивизионе, убили на фронте.

В 1953 году, когда мы уже вернулись в Ленинград, мы узнали, что умер Сталин. Я была в шестом или седьмом классе. Везде был траур. Всех детей построили на линейку, директор говорил нам о Сталине. Все учителя плакали. Завуч так рыдала, что не могла говорить. Мы стояли и еле сдерживали слезы. День был пасмурный – весна, но солнца не было. Мы все оделись и вышли на Невский проспект, пошли к памятнику Екатерине Великой. По радио передавали траурную музыку. У всех было горе, и все думали: «Что же теперь с нами будет?»»

У Нины Александровны перехватило горло, и какое-то время она не могла продолжать. Затем помотала головой, будто отгоняя что-то, полусердито, полупечально. К чему было продолжать? Вряд ли ее надежды могли сбыться. Хрущев, сталинский разоблачитель, был провалом. Брежнев был коррупционером и попросту дураком. А теперь она дожила до того времени, когда у диссидентов появилось право голоса, и очень громкого голоса, а Сталина на государственном телевидении сравнивали с Гитлером. Когда Нина Александровна вспоминала об этом, она щурила глаза от ярости.

“Сталин – вождь, под его руководством страна 30 лет строила социализм, – произнесла она. – Мы были бедными и неграмотными, ходили в лаптях. Большинство крестьян были так бедны, что от урожая до урожая едва сводили концы с концами. А сейчас наша пресса лжет о Сталине. Она очерняет нашу историю, разрушает мир миллионов людей, которые строили социализм в тяжелейших условиях. Нам говорят: «Посмотрите, как ужасно мы жили!» Да, жили трудно, но все верили, что мы будем жить лучше, а наши дети и внуки – еще лучше. Те, у кого ничего не было, могли чего-то достичь. А сейчас? Есть ли у нас сейчас такая вера в будущее? Я думаю, что за четыре года перестройки мы подорвали доверие рабочих людей – я подчеркиваю: рабочих, достойных, нормальных людей, – потому что наше прошлое оплевано. Если нет уверенности в будущем, то невозможно создать нормальные условия для жизни и работы нынешнего поколения. Раньше человек, ложась спать, знал, что утром он пойдет на работу и что ему обеспечено бесплатное медицинское обслуживание – не очень качественное, но бесплатное. А сейчас нам не гарантировано даже это”.

Мы вымыли посуду и вышли прогуляться по улице Коминтерна. Обед был прекрасный, разговор – откровенный и честный. Но вдруг что-то пошло не так. До сих пор взгляды Нины Александровны казались довольно типичными для женщины ее поколения и ее судьбы. Она жила бедно, потеряла брата и отца. Она осталась жива. И все это было под сенью Сталина. Лишенная доступа к подлинным историческим свидетельствам, Нина Александровна сама осмыслила историю, как это делали многие люди все эти годы. И вот теперь на нее обрушилась лавина фактов, опровергающих выстроенную ею картину, армия “псевдоинтеллектуалов” твердила на все лады, что история большевизма – это череда ужасов, и она не могла и не собиралась с этим мириться. Хотя Нина Александровна была лишь орудием в серьезной

политической борьбе, неким казусом, себя она, кажется, видела предводительницей партийного крестового похода или Жанной д'Арк.

День клонился к закату, тени удлинились. Но перед тем как совершить еще один ритуал – посоветовать гостю быстрый способ вернуться в город – электричкой? паромом? – Нина Александровна вдруг заговорила о евреях. Я ее об этом не спрашивал. Она знала, что с незнакомыми людьми, особенно с американским журналистом, об этом лучше не разговаривать. Но с ней случилось то же, что бывает с водителем, который заснул за рулем и потерял управление.

“Вы включите ленинградское телевидение! Если будете смотреть, увидите, что там все время хвалят евреев, нравится вам это или нет. Они могут сказать, что человек русский, но это для простаков. Если по телевизору показывают русского, всегда найдут какого-то дурака: глазки бусинками, зубы лошадиные. Карикатура! А потом показывают артиста, художника, который якобы представляет русское искусство. Но, извините меня, какой же он русский! Он еврей. У нас в стране евреев – меньше одного процента. Это очень мало. Так почему же во всех академических институтах, во всех престижных профессиях, на всех престижных местах в культуре, музыке, юриспруденции, везде сидят одни евреи? Кто все публицисты, журналисты? В основном евреи. У нас в институте защищают диссертации люди самых разных национальностей. Но евреи делают это незаконно. Мы видим, что они пишут совершенно обыкновенные диссертации, но они уверяют, что совершили открытие мирового значения. А там ничего такого нет! И так устроен весь факультет! Некоторые сионистские организации ведут у нас свою работу. Имейте это в виду! Они хитрые конспираторы. Я точно знаю от коллеги, который больше не работает в институте, что наши ленинградские профессора раз в месяц, в день зарплаты, ходят в синагогу и жертвуют там деньги! И это уже давно длится. У них постоянная взаимопомощь. Так евреи проникают в институты. А нам даже нельзя сказать, что кто-то еврей! Само слово нельзя произносить! Можно говорить «русский», «украинец», а почему «еврей» нельзя? Что, это как-то принижает его достоинство? Зачем прятаться за чужой национальностью? «Еврей» и «сионист» – это разные вещи. Но все сионисты – евреи. Это доказала жизнь, и не только мне. Среди наших друзей есть замечательные евреи. В нашем обществе есть интересные евреи: умные профессора, экономисты, и они как раз не подвержены теперешней политической моде. Вы меня понимаете?”

Конечно, ответил я, понимаю.

Нина Александровна оглянулась вокруг. Кажется, она сама удивилась тому, что у нее вырвалось, но затем коротко кивнула, будто признавая: “Ну да, я так сказала. И что?”

Мы продолжили прогулку. В царской летней резиденции никто Нину Александровну не узнавал. Возможно, ее знали по имени, но не в лицо. На ней были туфли на высоких каблуках, одета она была в белое – это делало ее еще больше похожей на старшую медсестру. Шла она горделивой походкой. Ее муж шел рядом и рассказывал мне про вон тот фонтан и вон ту историческую скамью. В какой-то момент разговор зашел о красоте, а затем – о конкурсах красоты, новом для Советского Союза явлении. На лице Нины Александровны вновь появилось то выражение, которое, как мне казалось, относилось строго к рок-н-роллу.

“Самое прекрасное в женщине – ее обаяние и женственность, богатство души, чистота. Она должна очищать, облагораживать мужчину, вести и направлять его к высокому, изгонять из него все дикое и животное. В сексуальной жизни она должна его обогащать, поднимать над животной похотью. А эти девушки раздеваются до бог знает чего и виляют задом”.

Мы некоторое время шагали молча. О чем еще было говорить? Я подумал, что эта женщина – идеолог из идеологов. Она была и пешкой в чужой игре, и теоретиком, ничуть не глупее своих покровителей – просто не политиком. Наконец, мы дошли до пристани. Я

поднялся на паром. Нина Александровна помахала мне на прощание и отправилась домой, повернувшись лицом к царскому дворцу и спиной к Западу<sup>34</sup>.

В начале апреля Горбачев и Яковлев переломили ход сражения. Должно быть, они в последний раз смогли воспользоваться авторитарным принципом партии, партийной дисциплиной, чтобы приструнить консерваторов. Несмотря на то что реформаторы составляли меньшинство и в политбюро, и в ЦК, Горбачев сумел так развернуть ситуацию, что никто не рискнул перечить генеральному секретарю. Горбачеву и Яковлеву по-прежнему подчинялась главная партийная газета “Правда”, и они начали готовить статью, из которой стало бы ясно, что “андреевский мятеж” подавлен и те, кто за ним стоял, проиграла.

“Политбюро рассматривало статью Андреевой два дня, – рассказывал Яковлев. – Всем членам политбюро было предложено высказаться, и они высказывались. Михаил Сергеевич начал разговор очень круто, дал суровую оценку статье. В результате, как всегда бывает с нами, такими принципиальными и неслизаемыми, все с его точкой зрения согласились”.

Лигачев вспоминал это двухдневное заседание политбюро как “охоту на ведьм в сталинском духе”. По его словам, перед началом заседания несколько членов политбюро выразили поддержку статье Андреевой, но под давлением Яковлева и Горбачева отступились.

Статья, подготовленная Яковлевым, осуждала тех, кто занят “торможением перестройки” и не может избавиться от “ностальгии по прошлому”. Статья вышла 5 апреля на третьей полосе “Правды”. Утром этого дня московские либералы – от Димы Юрасова до Юрия Афанасьева и Егора Яковлева – впервые за три недели вздохнули с облегчением.

“Освободиться от старого в мыслях и действиях оказалось труднее, чем мы предполагали. Но главное, что сегодня объединяет, – сознание того, что возврата назад нет, – писал Яковлев. – В статье [в «Советской России»] преобладает фаталистическое по сути своей понимание истории, не имеющее ничего общего с ее подлинно научным пониманием, оправдание именем исторической необходимости всего, что в ней имело место. <...>...культ [Сталина] не был неизбежным. Он чужд природе социализма и возможен стал лишь из-за отступлений от его основополагающих принципов”.

Покончив с этой проблемой, Горбачев и Яковлев сделали вид, что ничего не произошло. Если их спрашивали о Лигачеве, они отвечали, что в политбюро царит полное единодушие. Утверждать что-то другое означало бы повторять ложь западной прессы и разведок. Однако спустя несколько лет Яковлев высказался более откровенно. “Вы заметили, что в «правдинской» статье против Нины Андреевой ее имя вообще не упоминалось? Это не случайно, – сказал он мне. – Все это было частью процесса, который рос, как снежный ком. Кроме того, мы знали, как все было организовано, кто за этим стоял, кто редактировал статью, кто ездил к Андреевой в Ленинград. Если бы просто какая-то женщина по имени Нина Андреева написала статью, которую где-то напечатали, это было бы совсем другое дело. В ответной статье ее имя не упоминалось, потому что ответ был адресован не ей”.

В частном порядке Яковлев вновь посоветовал Горбачеву подумать о своем взгляде на партию. Еще в декабре 1985-го он подал Горбачеву секретную записку, в которой предложил разделить КПСС и затем возглавить более либеральную фракцию. В конце концов, история с Андреевой только показала, насколько велик существующий раскол. Ни о каком ускорении реформ не могло идти речи, пока партийные аппаратчики мертвым грузом висели на плечах у реформаторов. В конце концов, настаивал Яковлев, придется подумать не о двух-трех коммунистических партиях, а о настоящей многопартийной системе.

---

<sup>34</sup> В настоящее время Нина Андреева руководит малоизвестной партией, чье название похоже, а аббревиатура точно повторяет официальное название партии в 1925–1952 годах: ВКПБ (Всероссийская коммунистическая партия большевиков).

Яковлев понимал, что рано или поздно партия или порвет с собственной историей, или просто развалится. Среди партийных было полно министров и аппаратчиков, которые клялись в верности генеральному секретарю, но были готовы в любой момент предать его ради Системы. Через несколько лет Горбачев, ушедший к тому времени в отставку, признал, что и сам не понимал, какое “чудовище” пытался излечить. “Лигачев хотя бы шел в открытую”, – сказал он. Другие, притворявшиеся верными соратниками, через некоторое вывели на московские улицы танки.

## Глава 7

### До и после “дела врачей”

Примерно после истории с Андреевой, но до XIX партийной конференции в стране стали учащаться антисемитские выходки. В Подмосковье, где еврейская интеллигенция часто снимала на лето дачи, хулиганы один дом сожгли дотла, в другие вломились, разбили окна, перевернули мебель и нарисовали на стенах свастики. Члены общества “Память” и других подобных групп опрокидывали еврейские надгробия, развешивали листовки с подписями “Россия для русских! Организация «ЖС», «Жидам – смерть»”.

Юдифь Лурье, многолетняя отказница, однажды вечером позвонила мне и сказала, что она и ее друзья напуганы. Они отправились в клуб “Яуза”, где у них был арендован зал для заседания недавно учрежденной еврейской культурной организации. Когда они пришли, на двери клуба висел замок, а рядом стояли двое гэбэшников. К двери была пришпилена листовка: “Сколько можно терпеть грязных евреев, по-хамски пронизывающих все наше общество, особенно в тепленьких местечках! Одумайтесь! Как мы могли допустить, что из нашей прекрасной страны грязные жида сделали еврейскую прорву?! Почему стали мы, великие, умные, красивые славяне, считать нормальным явлением жидов среди нас?! <... > Как могут эти грязные вонючие евреи прикрываться и называться героическим и гордым именем русский?”

Многие евреи, звонившие мне, чтобы предостеречь, в то время впервые смогли напечатать свои литературные и научные труды, получить заграничные визы. Кто-то добивался разрешения на отъезд. Они возлагали на перестройку большие надежды, но оставались настороже. Начался исторический сдвиг. Экономика переживала серьезный упадок. Евреи понимали, что, если обстановка ухудшится, их начнут обвинять первыми. Ультраправые интеллектуалы, писавшие статьи для “Нашего современника” и “Молодой гвардии”, успешно формировали фанатическую идеологию русского национализма, объявлявшую всех евреев дьявольским отродьем, а всех врагов – евреями. Если объектом их ненависти оказывался русский, они писали, что наверняка его настоящая фамилия Гольдштейн или Рабинович.

Знаменитый математик Игорь Шафаревич, который в 1970-е вместе с Сахаровым и Солженицыным участвовал в диссидентских акциях, оказался одним из опаснейших интеллектуалов-антисемитов. В его обширном эссе “Русофобия” утверждалось, что “малый народ” (преимущественно еврейские писатели и эмигранты) лишает “большой народ” – этнических русских – самоуважения, поскольку говорит о русских как о “народе рабов, всегда преклонявшихся перед жестокостью и пресмыкающихся перед сильной властью”. Евреи, по мнению Шафаревича, сумели внушить миру, что они умны, культурны и являются истинными европейцами, тогда как русские – варвары.

Однажды вечером я навестил Шафаревича. Он жил на Ленинском проспекте. Посмотрев на меня с подозрением, Шафаревич заявил, что он никакой не антисемит. По его кабинету без остановки нарезала круги огромная собака. Подобные обвинения, продолжал Шафаревич, вызваны еврейской “манией преследования”.

“Есть только одна нация, о заботах которой мы слышим чуть ли не ежедневно, – писал Шафаревич в «Нашем современнике». – Еврейские национальные эмоции лихорадят и нашу страну, и весь мир: влияют на переговоры о разоружении, торговые договоры и международные связи ученых, вызывают демонстрации и сидячие забастовки и всплывают чуть ли не в каждом разговоре. «Еврейский вопрос» приобрел непонятную власть над умами, заслонил проблемы украинцев, эстонцев, армян или крымских татар. А уж существование «русского вопроса», по-видимому, вообще не признается”.

Когда я зачитал этот отрывок Шафаревичу, он энергично закивал в знак согласия, как будто слышал текст впервые. Затем он сказал: “Термин «антисемитизм» у нас как атомная бомба в голове. На фоне того, что делали с армянами и русскими, невозможно даже говорить об антисемитизме. Мне не известно ни об одной ссоре, ни об одном мордобое на антисемитской почве. Это совершенно несовместимо с реальными проблемами, которые сейчас у нас есть. Мне просто удивительно о таком слышать”.

Шафаревич был не одинок в своих взглядах. Хотя многие русские писатели высказывались против антисемитизма, руководство Союза писателей России поощряло националистическую идеологию, пропитанную ненавистью к евреям. В открытом “Письме 74-х”, подписанном членами союза и опубликованном в его органе, газете “Литературная Россия”, говорилось: “...именно [нацизм сионинистского толка] несет прямую ответственность за многие, в том числе и еврейские, погромы. За «обрезание сухих ветвей» дерева своего же народа – в Освенциме и Дахау...”

В течение нескольких месяцев звонившие мне друзья-евреи говорили, что грядут погромы. Не очередные притеснения, не отдельные нападения, а именно погромы. Это слово вызывало в памяти события столетней давности – резню евреев в Кишиневе, Одессе и Киеве. Погромы предполагали молчаливое соучастие государства. Кремль ничего не делал, чтобы разрешить ситуацию. Информационное агентство ТАСС распространило сообщение о Натане Щаранском, который после восьми лет, проведенных в лагерях по ложным обвинениям, получил наконец разрешение на выезд в Израиль. Теперь, согласно ТАСС, он “снова пробрался в новостную ленту”, вступив в израильскую армию. “Обрядившись в полученную израильскую форму, Щаранский с пафосом заявил, что наконец нашел свое место в жизни. Хождение по трупам палестинцев – вполне логичное и естественное продолжение карьеры этого псевдоборца за права человека”.

Трудно было понять, к чему все это шло. Один из самых старых членов еврейской общины в Москве признался, что таких агрессивных проявлений антисемитизма он не помнит со времен Сталина.

Я не придавал этому особого значения вплоть до пасхальной ночи предыдущей весной. В конце концов, вандалы оскверняли еврейские надгробия и в Америке – почему считать, что здесь опасность больше? Мы с Эстер пошли на вечернюю службу в Хоральную синагогу, которая снаружи имела вид унылый. На ступеньках стояли гэбисты, отслеживавшие всех, кто заходил внутрь. Дежурный агент (его легко было опознать по черному синтетическому пальто и красно-коричневому клетчатому шарфу) елеинно-угрожающим тоном опрашивал пришедших, словно проводя сощопрос: “Вы верите во всемогущего Бога? Вы бывали в Израиле?” Двое его коллег, как обычно, сидели в машине напротив входа. Внутри, в молельном зале для мужчин, на скамьях сидели десяток-другой стариков, переговаривавшихся на идише, и любознательные туристы из Нью-Йорка и Буэнос-Айреса. Молодежь давно уже списала синагогу со счетов: здесь невозможно было ни встречаться, ни молиться. Немногие правоверные иудеи, еще не уехавшие в Израиль или на Запад, молились дома. Даже те, кому было наплевать на кагэбэшников снаружи, считали, что главный раввин Москвы за много лет себя скомпрометировал.

В верхнем зале Эстер разговорилась с женщинами о пасхальных обрядах и поняла, что никто из них толком об этом не знает.

“Мой дед все соблюдал, – сказала ей древняя старушка, вспоминая что-то еще из прошлого века. – Но я забыла: сколько рюмок вина нам можно выпить?”

Эстер выросла в ортодоксальной еврейской семье, язык и обряды были у нее в крови. Она была потрясена. Она постаралась объяснить, что могла, но ей было мучительно видеть,

с какой жадностью они ее спрашивают. “А действительно нельзя есть хлеб на Песах?” – спросила ее одна из женщин.

В тот раз мы рано ушли со службы, чтобы успеть приготовить дома седел для приглашенных друзей. Когда мы подошли к машине, я увидел, что кто-то написал пальцем на запыленной двери большую букву Ж, обведя ее кругом. Ж, то есть “Жид”. И если меня не насторожили листовки и акты вандализма, то это удалось одной букве.

Погромов в результате не случилось, но страх был реальным. Разваливались государственные структуры, и то же происходило с показной “дружбой народов”. Гласность, позволившая, наконец, вести настоящие исторические дискуссии, с неизбежностью продемонстрировала и всю глубину вражды и ненависти в сталинской империи. В Таллине я слышал, как эстонцы называют русских идиотами и скотами; русские, в свою очередь, называли эстонцев приспешниками нацистов. Ереванские армяне были убеждены, что азербайджанцы нарочно “устроили” землетрясение, погубившее по меньшей мере 25 000 человек: они, якобы, провели подземное ядерное испытание и теперь готовились объявить армянам джихад, который обернется большей кровью, чем турецкий геноцид армян в 1915 году. Бакинские азербайджанцы совершенно точно знали, что ереванское правительство готовится захватить весь Азербайджан и при помощи лос-анджелесских эмигрантов-миллионеров основать на его территории армянское царство.

Евреям Ленинграда, Москвы и Новосибирска приходилось сталкиваться на улицах с ненавистью, которую разжигало общество “Память”. “Память” возникла в начале 1980-х при Министерстве авиационной промышленности. Организовала ее группа активистов, озабоченных сохранением российских памятников истории и культуры. Но после нескольких лет роста, внутренних распрей и расколов название “Память” унаследовала группа фанатичных антисемитов, пестрая компания из фабричных рабочих, партийцев, учителей, кадровых военных и уличных хулиганов. Они безошибочно выбрали подходящую эстетику: их черные футболки напоминали о черносотенцах-антисемитах, которые в последнее десятилетие царского правления учинили не один десяток погромов.

Еще будучи членом политбюро, Борис Ельцин встретился с представителями “Памяти”: он считал, что как первый секретарь московского горкома партии должен иметь представление о разных слоях общества. Об этой встрече он вспоминал с отвращением. “«Память» начиналась как что-то интересное, а превратилась в чистое зло», – сказал он. Больше он с этими людьми никогда не имел дела.

Я наблюдал руководителей “Памяти” много раз – на квартирных собраниях, на митингах в Москве, Ленинграде, в сибирских городах. Они все как один были первостатейными болванами, что и неудивительно. Дмитрий Васильев, в прошлом фотограф и исполнитель эпизодических ролей в кино, хвастался, что окончил только восемь классов, что вряд ли усиливало к нему доверие. На одном скромном митинге я наблюдал, как этот одутловатый человек часа два надрывался в мегафон, обличая сионистов и “тех, кто унижает русский народ”. Он сообщал, что русских детей превращают в алкоголиков, потому что “злокозненные силы” подмешивают спирт в кефир. Редакторов-евреев он уличал в заговоре, потому что в своих газетах они печатали шестиконечные звезды. Евреи-архитекторы “не случайно” так спроектировали Пушкинскую площадь, чтобы Пушкин стоял спиной к кинотеатру “Россия”. Было неясно, является ли Васильев самым опасным из предводителей “Памяти”. В конце концов, его соперник Валерий Емельянов несколько лет провел в психбольнице, после того как убил жену. Из больницы он вышел как раз вовремя, чтобы насладиться плодами гласности.

Наиболее отчетливо и внятно “идеология” “Памяти” излагалась в 24-страничном манифесте, который мне раздобыли. Стиль этого документа был не так истеричен, как выкрики Васильева, но он точно так же сообщал о “сатанинском” культурном влиянии

Запада и “геноциде русского народа”. Евреи и сионисты объявлялись виноватыми во всех несчастьях России. Евреи, гомосексуалы и масоны были ответственны за рок-музыку, наркоманию, СПИД и разводы в российских семьях. Поэзия Бродского, живопись Шагала, “антипатриотический” роман Пастернака “Доктор Живаго” были лишь бездарными поделками, пятном на теле “истинной русской культуры”. Русские, говорилось в манифесте, “спасли” евреев во Вторую мировую войну, а еврейская пресса лишь осмеивает русских и не ставит ни во что их страдания: “Пресса пишет так, словно во время войны одни евреи погибли на фронте”.

“Память” распространяла “Протоколы сионских мудрецов”. В поддержку общества выступали “Литературная Россия”, “Молодая гвардия” и другие издания правого толка. В Ленинграде, где “Память” была особенно активна, члены общества оклеветали Исаака Зальцмана – еврея, который в годы Второй мировой войны руководил производством советских танков. Зальцман якобы организовал хор, состоявший из “шестнадцатилетних русских девственниц”, и соблазнял их. В других городах “Память” обвиняла евреев в дефиците товаров, эротике на телевидении и Чернобыльской аварии.

В сравнении с тем, что происходило с другими народами империи, угроза евреям была не так уж велика. Но гласность, ослабление эмиграционных запретов, общее напряжение и страх перед непонятным будущим приблизили момент, которого ждали евреи во всем мире. Начался исход. Теперь советские евреи, стремившиеся уехать в Израиль, могли это сделать. В 1989 году в Израиль и на Запад уехало 100 000 советских евреев. Еще сотни тысяч ожидали виз, приглашений, билетов. Люди, которых когда-то, похоже, чудом помиловали, теперь получали путевки в новую жизнь.

Второго “дела врачей” не затеяли. А единственный доживший до этих дней фигурант того отвратительного дела, Яков Рапопорт, объявил, что эмигрировать вместе с другими не собирается. “Мое время прошло, – сказал он мне. – Мне 91 год. Слишком поздно. Я буду похоронен здесь”. В его истории и истории его семьи, казалось, отразилась вся большая история и судьба евреев в России.

Как и многие евреи его поколения, Яков Рапопорт прекрасно понимал, что чистки 1930-х не были каким-то кратковременным помрачением. Страшные вещи творились и до 1937 года, страшные вещи ожидали и впереди. Евреев Сталин ненавидел. В 1948 году он отдал приказ об убийстве “врага народа” Соломона Михоэлса – знаменитого директора Московского государственного еврейского театра и председателя Еврейского антифашистского комитета. После убийства Михоэлса, замаскированного под автокатастрофу, были арестованы другие видные члены ЕАК – так МГБ ознаменовало “возвращение к нормальному порядку” после войны. В 1952 году в качестве прелюдии к “делу врачей” МГБ по ложным обвинениям в шпионаже и государственной измене казнило 23 человека, представителей еврейской интеллигенции. В начале 1953 года Сталин распорядился арестовать девятерых известных врачей, шесть из которых были евреями. В партийном постановлении утверждалось, что законспирированная группа врачей отравляла кремлевских лидеров. Кроважидная паранойя Сталина была готова проявиться снова. Большинство историков сегодня согласны, что приказ об аресте врачей мог означать то же, что инспирированное Кремлем в 1934 году убийство первого секретаря Ленинградского обкома Сергея Кирова. То есть стать отправной точкой для волны массового террора. В 1956 году в своей речи на XX съезде партии Хрущев сказал следующее: Сталин “сам давал указания, как вести следствие, как допрашивать арестованных. Он сказал: на академика Виноградова надеть кандалы, такого-то бить. Здесь присутствует делегат съезда, бывший министр госбезопасности товарищ Игнатъев. Сталин ему прямо заявил:

– Если не добьетесь признания врачей, то с вас будет снята голова.

Сталин сам вызывал следователя, инструктировал его, указывал методы следствия, а методы были единственные – бить, бить и бить.

Через некоторое время после ареста врачей мы, члены политбюро, получили протоколы с признаниями врачей. После рассылки этих протоколов Сталин говорил нам:

– Вы слепцы, котятка, что же будет без меня – погибнет страна, потому что вы не можете распознать врагов”.

Из девяти арестованных врачей только Яков Рапопорт дожил до наступления гласности. Я познакомился с ним, с его дочерью Наташей и внучкой Викой и несколько раз приходил в гости в Наташин дом. Старый врач давно уже вышел на пенсию, но память у него была отличная, а голос звучный, как у молодого человека. “Я думал, что мне конец, что я уже труп, – вспоминал он о своем тюремном отчаянии. – А потом меня вдруг выпустили из тюрьмы, я совершенно не понимал почему. И только когда я пришел домой, жена сказала мне, что Сталин умер. Мне просто повезло – мне и, вероятно, еще сотням тысяч евреев”.

Воинственный антисемитизм сталинской эпохи и “дело врачей” – лишь два белых пятна в официальной версии советской истории, а таких пятен было бесчисленное множество. Первыми упоминаниями в печати “дела врачей” стали воспоминания Якова Рапопорта, опубликованные в журнале “Дружба народов”, и Наташи Рапопорт, опубликованные в “Юности”. Обе публикации вышли в апреле 1988 года. И отец, и дочь начали писать воспоминания задолго до прихода Горбачева. Но только в 1987 году они оба решили, что уже можно рассказать правду. Наташа съездила в провинцию к своим друзьям – Ирине и Юлию Даниэлям. Лучшей аудитории она найти не могла бы: Юлий Даниэль вместе с Андреем Синявским в 1960-х отсидел семь лет<sup>35</sup> по одному из первых диссидентских дел. Отцом Даниэля был Марк Меерович, знаменитый еврейский писатель, писавший на идише. Когда Наташа закончила читать, Даниэль сказал ей, что публиковать нужно.

По предложению Даниэля Наташа отнесла рукопись в “Юность” – ежемесячный журнал, где в дни хрущевской оттепели печатались молодые таланты. На новую, сравнительно либеральную редакцию текст произвел большое впечатление. Тем не менее Наташе сказали, что в нем “слишком много еврейских имен”, слишком много прямых обвинений в антисемитизме. Наташа засмеялась и ответила: “Это напоминает мне анекдот о том, как мальчик спрашивает дедушку: «Правда, что Христос был евреем?» А дедушка отвечает: «Правда. Тогда все были евреями. Время было такое!» Ну вот, значит, тогда тоже время было такое”. Редакторы ответили, что попытаются опубликовать, но не хотят “раздражать” читателей. Они спросили у Наташи, не вспомнит ли она каких-нибудь “хороших русских людей, которые ей помогали”. Встреча закончилась неопределенно, без обещаний, но и без отказа. Редакция еще не успела получить внятный сигнал сверху и занимала выжидательную позицию.

“Потом наступил ноябрь, Горбачев выступил со своей речью об истории, – вспоминала Наташа. – Он даже упомянул «дело врачей». И через два дня мне позвонили из «Юности» с поздравлениями. Они решили напечатать мои воспоминания! И добавили: «Только не думайте, что это как-то связано с речью Горбачева». Ну как можно, конечно, нет! Евтушенко попросили написать предисловие. Он написал довольно много об антисемитизме, но все это вырезали, настаивая, что ведь русских тоже арестовывали. Там еще была фраза о том, что в 1953 году ходили слухи о погромах, о том, что концлагеря готовятся к приему евреев, после того как врачей казнят на Красной площади. Мы боролись за это место, но что я могла поделать? Это тоже вырезали”.

Несмотря на сокращения, мемуары Рапопортов стали первым печатным выступлением против антисемитизма. “Мы зашли в запретную зону”, – сказала Наташа.

---

<sup>35</sup> Юлий Даниэль был приговорен к 5 годам, а Андрей Синявский к 7 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима, оба по статье 70 УК РСФСР (“антисоветская агитация и пропаганда”).

Между поколениями Рапопортов существовала тесная, естественная близость. Их рассказы, даже отдельные фразы сплетались в единую цепь размышлений и воспоминаний. История их семьи была ни много ни мало историей еврейства в Советском Союзе. “Эти глаза видели столетнюю эпоху, – сказал мне Яков, – от Николая II до Горбачева”. Наташа улыбнулась и положила руку на жилистое запястье отца.

Они очень любили друг друга, но было между ними и напряжение.

“Я хотела эмигрировать с 60-х, но родители отказывались, – объяснила Наташа. – Они боялись, и я не смогла их уговорить. Они решили, что для них уже слишком поздно, что они должны умереть здесь. Мама уже нет. Я чту ее память и очень люблю отца. Но все равно не могу им этого простить”.

Яков Рапопорт слышал это, наверное, в тысячный раз. Его левая рука немного дрожала. Он ничего не отвечал – просто смотрел на чайник и делал вид, что не обращает внимания на слова дочери. Он казался невозмутимым, но его выдавало дрожание рук. Когда Наташа стала рассказывать о своих страхах, что ухудшающееся экономическое положение будет способствовать размножению таких организаций, как “Память”, он твердо сказал:

– Я это уже проходил. Я не боюсь.

Но руки его снова задрожали.

Должно быть, он думал, что в стране мало что меняется. Иногда, выглядывая в воскресный день из окна, Яков Рапопорт видел молодых людей из “Памяти”, в черных футболках, носивших транспаранты вокруг храма Всех Святых на Соколе: “Жиды, вон!”, “Долой жидомасонский заговор!”

– Но и это я тоже видел, – сказал Яков.

Детство Рапопорта прошло в Крыму. Первое его воспоминание – погром 1905 года. “Мне было шесть лет. Мой отец преподавал в моей школе русский язык и математику. У нас шел урок естествознания, и тут в школу ворвались казаки. Школу разнесли. Я помню, как разбивали глобусы, всюду было битое стекло, отец серьезно пострадал. Полиция оттащила трупы в морг. Моего отца тоже туда отнесли – решили, что он мертв. Случайно один наш друг увидел его там. Услышал, что он стонет. Он был без сознания, весь в крови. Пальцы, руки ему переломали дубинками. Он пытался защитить лицо, так что ему сломали руки. Переломы заживали потом много месяцев. Тот наш друг попробовал дотащить отца до школьных ворот, посадить на извозчика. А там стоял директор школы и орал: «Убирайся, еврей!» Когда через несколько недель отец наконец вернулся в школу, учителя его сторонились. Не разговаривали с ним. Так что ему в конце концов пришлось уйти из школы. Вот такое мое первое детское воспоминание”.

Мальчиком Рапопорт читал судебные репортажи о “деле Бейлиса” в Киеве. Для евреев в царской России это дело имело такое же значение, как “дело Дрейфуса” во Франции. В 1911 году киевская полиция нашла труп тринадцатилетнего русского мальчика. Его мать, бедная проститутка, обвинила в убийстве злокозненных евреев, которые-де убили ее сына, чтобы замесить на его крови пасхальную мацу. “Кровавый навет” был частью украинского антисемитского фольклора. Разумеется, это был совершеннейший вздор. Несмотря на это, царская полиция арестовала заводского рабочего – еврея Менделя Бейлиса. Мало кто сомневался в обвинительном приговоре. За процессом внимательно следила мировая пресса. Обвинение вызывало свидетелей, которые показывали, что подобные ритуальные убийства широко распространены. “Обвиняли всех евреев, не только Бейлиса, – говорил Рапопорт. – В нашем классе половина учеников верила в эти обвинения, а половина нет.” Но суд присяжных, состоявший в основном из неграмотных украинских крестьян, не поверил в “кровавый навет” и Бейлиса оправдал.

“Это было чудо, – вспоминал Рапопорт. – Одного из присяжных потом спросили, что заставило его так проголосовать, и он ответил просто: «Совесть». Позднее я узнал, что перед вынесением приговора эти крестьяне-присяжные молились Богу. Так что религия, по крайней мере в этом случае, была прибежищем совести”.

Мальчик Рапопорт рос, и не было ни одного года, чтобы в школах или на улицах не нападали на евреев. Погромы сделались постоянными, и постоянно существовала опасность следующего погрома. Дискриминация евреев в большом и малом касалась всех сфер жизни. Еврейские учащиеся, такие как Рапопорт, даже платили больше других за обучение в государственных учреждениях. “Моя семья никогда не была религиозной, но царизм не уставал напоминать мне о моем вероисповедании”, – говорил Рапопорт.

Он увлекся естествознанием и отправился изучать медицину в Петроград – город царей, который вскоре станет городом революции и получит название Ленинград. Петроград находился за пределами черты оседлости, внутри которой разрешалось жить евреям, но по какой-то причине университетское начальство позволило Рапопорту учиться. “Думаю, что в общем и целом, – замечал он, – цари были либеральнее большевиков”. Рапопорт приехал в город в 1915 году и снял где-то угол.

Время в те годы он делил между лабораторными занятиями и участием в уличных манифестациях. Утро проводил в аудиториях и анатомическом театре, а затем шел в Государственную думу и слушал речи депутатов, клеймивших царское правительство за репрессии и некомпетентность. Позднее он слушал Ленина, призывавшего к пролетарской революции с балкона особняка богатейшей балерины<sup>36</sup>.

“Во время первой, Февральской, революции, когда свергли царя, я был в самой гуще! – рассказывал Рапопорт. – Мне дали винтовку и пистолет. Я вместе с рабочими арестовывал царских министров. Это была настоящая буржуазная революция... Мы надеялись, что у нас будет конституционное государство, как во Франции и в других странах Западной Европы. Я и теперь не думаю, что это были наивные мечты. Поначалу революционные идеи меня увлекли, но затем я стал смотреть на вещи более трезво. Большевицкая революция мне совсем не понравилась. Я видел в ней огромную опасность, прежде всего потому, что эту революцию делали массы неграмотных людей, ненавидевших образованное общество. Это означало, что образованные люди скоро будут уничтожены. Я думал, что начнется хаос, и оказался прав. Ленина окружали и русские, и евреи. Тогда это не имело большого значения. Были просто члены партии, национальный вопрос не поднимался. Но есть одна интересная подробность, которую многие не замечают. Я помню, как читал в полном собрании сочинений Сталина описание Третьего съезда партии, во время которого произошел раскол между большевиками и меньшевиками. Сталин писал, что на Третьем съезде большая часть меньшевиков были евреями, а большая часть большевиков были русскими. Друг Ленина Малиновский шутил, что в партии следует устроить погром. Но для Сталина это было не шуткой, а руководством к действию. После революции я видел в Крыму, как страшно расправились с белыми офицерами. В Крым приехали Землячка и Бела Кун<sup>37</sup>. Они начали составлять списки тех, кто принимал участие в Белом движении. Пообещали никого не расстреливать, просто занести в список. А затем убили всех, в том числе многих совсем молодых. Всех, кто зарегистрировался, расстреляли. Те, кто не регистрировался, уцелели. Тогда я уже понимал, что к чему и кто есть кто”.

---

<sup>36</sup> Имеется в виду Матильда Кшесинская, в чьем особняке после Февральской революции располагалась штаб-квартира большевиков.

<sup>37</sup> Розалия Землячка (1876–1947) – революционерка, партийный деятель, участница Гражданской войны. Бела Кун (1886–1938) – венгерский и советский политический деятель, лидер Венгерской революции 1919 года, председатель Крымского революционного комитета в 1920 году; был репрессирован и расстрелян. Землячка, Кун и Георгий Пятаков были ответственны за проведение Красного террора в Крыму.

В Москве Рапопорт довольно быстро приобрел известность как патологоанатом. Он старался держаться от политики подальше. Но чем заметнее он становился в своей области, тем труднее было оставаться в стороне. При Сталине ему настойчиво предлагали вступить в партию. И каждый раз он отказывался. В конце 1930-х у него начались неприятности: он возглавлял приемную комиссию в московском медицинском институте и отказывался заваливать на экзаменах детей “врагов народа” – тех, кого без вины арестовывали и расстреливали органы безопасности. Рапопорт полагал, что сам он избежал тогда ареста, лагеря и расстрела только потому, что страна не могла обойтись без хороших врачей. “Но на самом деле я не знаю, почему пережил террор, – признавался он. – Может, просто повезло?”

В 1943 году, в дни Сталинградской битвы – поворотного для Советского Союза эпизода войны, – Рапопорт все-таки согласился вступить в партию: “по патриотическим, а не по политическим соображениям. В то время партия была единственной силой, спланивавшей страну. Я никогда не забуду беседу в парткоме. Первым делом меня спросили: «Что такое сионизм? Что вы о нем думаете?» Я разозлился, но ответил: «Сионизм – это национально-освободительное движение евреев, направленное на создание собственного государства». Они были ошарашены”.

Когда в дверь все-таки позвонили, Наташе Рапопорт было 14 лет. Это произошло в ночь на 2 февраля 1953 года. Один из ближайших друзей их семьи, доктор Мирон Вовси, был к тому времени уже арестован. В газетах и по радио велась грубейшая пропагандистская кампания: говорили об “убийцах в белых халатах”, врачах-евреях.

“Ходили слухи, что в целях «защиты» от народного гнева для прочих, «невиновных евреев», строят спецлагеря в Сибири. И всех евреев туда отправят, – рассказывала Наташа. – Много обсуждали, как именно будут казнить преступников. Мои одноклассники знали из «достоверных источников», что их повесят на Красной площади. Кто-то волновался, допустят ли на казнь публику или понадобятся специальные разрешения? Такого утешали: «Не переживай. Все, конечно, заснимут на пленку». А мне снились кошмары: Вовси на виселице”.

Теперь и в их квартире надрывался дверной звонок, и это значило, что пришли за отцом. Агенты МГБ перерыли все ящики и книжные полки, отметив в числе прочих несколько книг Фрейда – полезный материал для обвинения в будущем суде. Во время обыска один из агентов порезал палец. Наташина мать предложила прижечь порез йодом, но тот, боясь, что в йоде окажется яд, отказался. “По телефону вызвали машину, – вспоминала Наташа, – и пострадавшего увезли – вероятно, в спецклинику, где его царапину можно было доверить надежному русскому хирургу”.

На Наташу этот арест произвел такое же впечатление, как на ее отца – симферопольский погром 1905 года. Она поняла, что значит быть евреем во враждебном окружении. “Сталин – ублюдок и преступник, – сказала ей мать. – Но никогда об этом ни с кем не говори. Ты поняла?” Друзья Наташи насмеялись над ней, на нее глазели в классе. Дети во дворе дразнили ее, крича, что ее отец брал гной из трупов раковых больных и мазал им здоровых людей. В нее кидали гнилыми помидорами, камнями,дохлыми мышами. МГБ конфисковало все их деньги, ценные бумаги, сберкнижки. Мать Наташи продавала книги – Толстого, Пушкина, Гюго, – чтобы покупать хлеб и молоко. По ночам Наташа не спала: ждала, что придут и за мамой.

Москву охватила антисемитская истерия. В каждой школе, в каждом институте, на каждом заводе партийные организации обличали врачей и призывали “трудящихся” к “бдительности” для выявления других еврейских заговорщиков. В МГУ на одном из таких мучительных комсомольских собраний пришлось присутствовать и Михаилу Горбачеву в студенческую пору. Тогда его близкого друга Владимира Либермана взялся разоблачать ветеран

войны, полковник-орденоносец. Много лет спустя на вечере встречи выпускников юрфака Либерман рассказал журналисту: “Кое-кто из товарищей держал нос по ветру и тоже стал меня критиковать. Я был единственным евреем в парткоме факультета. А Горбачев только что вступил в партию, но именно он постарался пресечь травлю и сделал это очень решительно, с использованием непарламентских выражений. Одного из пожилых и заслуженных ветеранов он назвал «бесхребетным существом». Это их остановило”.

Однако протестовали немногие, и еще меньше людей считало, что за “делом врачей” не последует что-то гораздо худшее. Через несколько недель после ареста родные Якова Рапопорта уверились, что его нет в живых. В приемной МГБ им сообщили, что передачи в тюрьму “больше не нужны”. В годы террора сотни тысяч семей понимали, что это означало: что их близкие мертвы.

5 марта директриса Наташиной школы собрала всех учеников в большом актовом зале. Товарищ Сталин скончался, объявила она им. Сорок пять минут все вокруг Наташи рыдали: учителя, школьники. Наташа плакать не могла, но старалась вести себя соответственно. “Наконец нас распустили по домам, – вспоминает Наташа. – Мы с подружкой шли по улице и говорили о чем-то совершенно другом, а потом начали смеяться. Мы совершенно забыли, что умер Сталин и надо горевать, как все. Но люди на улице пришли от нашего смеха в ярость, у них был просто шок. Нам пришлось побежать, мы испугались, что нас прямо там побьют”.

Через три дня после смерти Сталина в их квартире раздался телефонный звонок. Мужской голос без всякого выражения произнес: “Я звоню по просьбе профессора. Профессор просил меня передать вам, что он здоров, чувствует себя хорошо и волнуется за семью. Что ему передать?”

Он был жив! Яков Рапопорт вернулся домой 4 апреля. Перед тем как зайти в квартиру, он позвонил снизу из телефона-автомата: “Я не хотел, чтобы у них при виде меня случился разрыв сердца”. С тех пор каждый год в этот день те, кто выжил после “дела врачей”, собирались, чтобы отметить годовщину своего освобождения. Около 30 человек – арестованные врачи и несколько “подозреваемых” – праздновали свое спасение и спасение всех российских евреев.

“Теперь остался только я, – говорит Яков Рапопорт. – Мы с семьей празднуем этот день одни”.

Яков Рапопорт был благодарен судьбе за свое освобождение. Даже много лет спустя он не мог осуждать за что-либо Никиту Хрущева: ведь “тот освободил сотни тысяч человек и вернул им доброе имя”. Но для Наташи “дело врачей” стало гранью, отделившей детство от взрослой жизни, приятие жизни от отчуждения. Закрытие дела означало для ее отца свободу, а для дочери – мировоззренческий слом и утрату доверия: “Я начала видеть, сколько вокруг меня лжи. Я стала вести двойную жизнь: вне близкого круга была осторожна, следила за своими словами и поступками, и только среди родных и друзей позволяла себе говорить откровенно, вести себя свободно, быть собой. Мое отношение к людям изменилось. Столько человек нас предали! Те, от кого я этого никак не ожидала. Я перестала доверять людям. И я начала понимать, по-настоящему понимать, что я еврейка. Я поняла, что быть евреем – значит подвергаться преследованиям. Чтобы осознать это, мне понадобилось много лет, и, может быть, я и теперь не до конца это осознаю. В конце концов, я лишена еврейской истории, еврейской культуры, еврейского языка. Это ужасная вещь для нас всех. Мы ничего о себе не знаем. В нашем доме жил один еврейский мальчик, с типично еврейской наружностью. Забавный мальчишка. Потом приехал другой мальчик, из Средней Азии, и они подрались. Одна из мам спросила мальчика-еврея, почему он дерется с мальчиком-азиатом.

И мальчик-еврей ответил: «Потому что он нерусский!» Бедный ребенок не понимал, что он сам нерусский. Он поймет это только тогда, когда русский всучит ему листовку – или огреет дубинкой по голове».

Всю жизнь Наташа Рапопорт, ставшая химиком, сталкивалась с государственным антисемитизмом. При выпуске из института ее и однокурсников-евреев распределили на заводы, а остальные получили места в академических институтах. В конце концов она смогла устроиться в престижный институт, но там ее предупредили, что рассчитывать на повышение по службе не стоит. «Я ценю вас и ваши способности, Наталья Яковлевна, но на вашем факультете слишком много евреев, – сказал ей кто-то из начальников. – Местный партком и так имеет зуб на вашего завлаба за то, что тот взял на работу столько евреев. Вы же не хотите навлечь на него новые неприятности?»

В 1978 году она потрясенно наблюдала за новым, пусть и менее масштабным, «делом врачей» в институте ее отца. Институтское начальство получило анонимный «сигнал», что русские пациенты у них умирают, а пациенты-евреи выздоравливают. Анонимки обвиняли врачей-евреев в проведении в институте экспериментов над русскими, в нацистском духе, и в тщательном сокрытии этого. «Вместо того чтобы выбросить письмо в корзину, начальство затеяло серьезное расследование», – говорила Наташа. Ее отец слабо улыбнулся. «Представляете? Та же старая история. И что вы думаете?! Оказалось, что никаких экспериментов не проводилось».

– В *Homo soveticus*, отдельном виде людей, есть что-то особенное. Уровень антисемитизма здесь уникален, – сказала Наташа. – Антисемитизм здесь – инструмент политики, часть политического равновесия. Наше правительство решает, торговать ему судьбой евреев или нет, выпускать их или нет – в зависимости от того, что надеется получить взамен. Еврей – карта в политической игре. И от этого антисемитизм становится только опаснее: невозможно предугадать, как изменится политика и что с нами решат сделать в следующий раз.

Надежды Наташи уехать в Израиль или Соединенные Штаты не сбылись. Израильцы предложили ей место в иерусалимском институте имени Хаима Вейцмана, но она не смогла уговорить родителей уехать. Ее муж Владимир также колебался. «Он очень нерешительный человек. Из-за этого мы чуть не развелись. Я думаю, моя жизнь в Израиле сложилась бы иначе. Как ученый я могла бы добиться всего, что мне позволил бы талант. Здесь я заперта в клетке».

Наташа хотела, чтобы хотя бы ее дочь Вика научилась жить и мыслить как свободный человек. Когда однажды девочка пришла домой, распевая большевистские песни, которым ее научили в школе, Наташа была вне себя от ярости. «Я велела ей немедленно замолчать, – рассказывала она. – Но она любила эти песни. Когда я стала объяснять, что ей заморочили голову в школе, стала призывать посмотреть вокруг, она начала плакать и кричать. Она защищала то, о чем ей рассказали во втором, третьем классе. Она боролась за эту прекрасную ложь».

Когда Вика подросла, она сама начала понимать, что слова школьных учебников слишком противоречат тому, что она знала об истории своего деда, о мире вокруг. Как часто бывает в таких случаях, она стала циничной, а ко всему советскому стала относиться с отвращением. Она решила, что при возможности эмигрирует. «Когда мне было 13 лет, я уже знала, что не хочу здесь жить, – сказала мне Вика. – Я жила в Советском Союзе, но знала, что это временно. Одна эта мысль уже позволяла чувствовать себя свободной. Новой волны антисемитизма я не боюсь. Они жалкие люди, такие тут всегда будут. Я уезжаю, потому что больше не могу все это выносить: здешние правила жизни, психологические проблемы, серую безликость. Если я здесь останусь, я задохнусь. Я могу предсказать свою жизнь здесь до могилы – если, конечно, мне на голову не свалится кирпич. А я хочу родить детей, но не хочу, чтобы они родились здесь. Я буду скучать по всем, кого здесь оставлю, но все равно уеду».

За несколько дней до Викиного отъезда в Израиль они с матерью поставили для друзей и родных необычный кукольный спектакль. В маленькую комнатку набилось человек 75. Две куклы, которых озвучивали Викины друзья, разыграли историю ее жизни и грядущий отъезд. Представление кончилось, куклы уже валялись на полу, а некоторые зрители все еще смеялись, другие плакали.

До самого отъезда Вике словно специально напоминали, почему именно она уезжает. В самый канун они с Наташей ехали по северному району Москвы на Наташиной оранжевой “Ладе”. В зеркало заднего вида Наташа увидела, что за ними следует машина. Остановившись у поста ГАИ, она спросила:

– Что за черт? Почему вы меня преследуете?

– Ради вашей же безопасности, – ответил милиционер в чине капитана.

Наташа разозлилась, но ее дочь только улыбалась: все подтверждало правильность ее решения. Той ночью Вика улетела в Будапешт, где пересела на самолет до Тель-Авива. Когда она уехала, Наташа сказала: “Впервые за много недель я смогла крепко заснуть”.

Через какое-то время я снова навесил Наташу Рапопорт. Ее дочь жила в Иерусалиме, отец – в Москве. Наташа назвала себя “женщиной между”. Было похоже, что она избегает вопроса о том, что будет, когда умрет ее отец, осуществит ли она свою мечту об эмиграции. Наконец она заговорила об этом сама.

“Я знаю, о чем вы думаете, – сказала она. – И мой ответ – да. Когда его не станет, меня здесь тоже не будет”.

## Глава 8 “Мемориал”

Эстер не знала, где погиб ее дед, где похоронен. Скорее всего, был убит выстрелом в затылок. Вероятно, погребен в братской могиле где-то под Горьким<sup>38</sup>. Она могла только строить предположения.

В Советском Союзе – империи, где жили евреи, уцелевшие после Холокоста, и их дети – такая мучительная неопределенность была в порядке вещей. Как пишет Ханна Арендт, “концентрационные лагеря, делая смерть анонимной (поскольку невозможно выяснить, жив узник или мертв), отняли у смерти ее значение конца прожитой жизни”. Кажется, мы не встречали ни одного человека, чей дед, отец, брат, друг не являлся бы ему во сне – как призрак, поскольку точно узнать время и место его кончины было невозможно. Выживший мог представить себе типичную картину смерти: резиновый фартук палача, яму в мерзлой земле. Но страдание не притуплялось, потому что финальная точка не была поставлена. Так режим становился виновен сразу в двух ужасных преступлениях: убийстве и нескончаемом насилии над памятью. Скрывая историю, Кремль увеличивал безумие и отчаяние своих подданных.

Наяву люди продолжали жить на развалинах ночных кошмаров. Они обитали в домах, построенных заключенными, плавали по каналам, прокопанным государственными рабами. Однажды в Караганде – промышленном казахском городе, который выглядел из окна самолета как пепельница, набитая окурками, – я зашел в лесок и наткнулся на заброшенную школу. Шахтеры, показывавшие мне местность, обратили мое внимание на оконные решетки. “Школа была неплохой, а как тюрьма – вообще любо-дорого”, – с горечью произнес один из шахтеров. Его отца арестовали за “антисоветскую агитацию”, и он провел год в помещении, которое впоследствии стало кабинетом второклассников. Теперь в промозглых классах хозяйничал ветер. В игровых комнатах в подвале когда-то по ночам расстреливали. Там в полу были водоотводы, по которым стекала кровь; потом для детей стены разрисовали картинками, зебрами и антилопами.

Много позже я совершил еще одну поездку – на этот раз на Дальний Восток, на Колыму, в бывший концлагерь, находившийся напротив Аляски, по другую сторону пролива. На Колыме погибло по меньшей мере два миллиона заключенных<sup>39</sup>. Те, кому посчастливилось выжить, уже давно вернулись домой, а тени других все еще скитались здесь. Русский Север когда-то был родиной “малых народов”, охотников и кочевников – эскимосов, якутов, чукчей, юкагиров. Мой друг сказал мне, что в селе Гадля до сих пор проживает около сотни эвенов. Село находится к северу от Магадана, примерно в часе езды. Не хотел бы я туда съездить?

В Гадлю мы приехали около половины девятого утра. Перед нами расстилалось море грязи с кучами мусора, пустым магазином, несколькими деревянными избами, утопавшими в той же грязи, с домами барачного типа из наливного бетона, какие можно видеть на окраине почти всякого советского города. Молодая красивая женщина с круглым эскимосским лицом пьяно брела по луже. Покосившись на нас, она споткнулась и упала на одно колено. Чуть дальше стояли люди, некоторые – привалившись к стене, еще пара передавала друг другу бутылку, не говоря ни слова. Половина поселка была пьяна с раннего утра. Мой друг объяснил: по утрам здесь всегда так, а к вечеру все будут беспробудно спать. Пьют водку, само-

---

<sup>38</sup> Ныне Нижний Новгород.

<sup>39</sup> Эта оценка, по мнению председателя правления правозащитного общества “Международный Мемориал” А. Б. Рогинского, завышена приблизительно в два раза.

гон, лосьон для волос, одеколон, даже средство от насекомых. И так – годами. Раньше, многие столетия, эвены были кочевниками и охотились на оленей. Затем их согнали в эти села и деревни. Лишившись привычного образа жизни, они растерялись. Государство в целях воспитания правильного советского эвена, чукчи и эскимоса забирало детей у родителей и помещало их в государственные интернаты – унылые учреждения, разбросанные непонятно где. После обработки в этих школах в детях не оставалось ничего эвенского. Они плохо говорили по-русски, а по-эвенски не говорили вовсе.

Одним из немногих трезвых жителей, повстречавшихся нам, был коренастый молодой человек с поврежденной рукой. Его звали Виктор, и ему я задал свои невеселые вопросы.

– Эвены вымирают, – сказал он. – У них нет никаких занятий, и они пьют, пока не допиваются до смерти. До четырех лет я говорил по-эвенски – так мне рассказывали. Потом меня отправили в школу. На самом деле это была никакая не школа. Нас просто заставляли там сидеть и разрешали говорить только по-русски. Так что большинство из нас вообще не разговаривали.

Я спросил его, на что он надеется в жизни, помогут ли его народу перемены, начавшиеся в Москве. Вокруг нас к этому времени собралась небольшая группа пьяных жителей. Они смотрели стеклянными глазами, и их головы покачивались, как одуванчики на ветру.

– Для нас все кончено, – ответил Виктор, обведя взглядом своих односельчан. – Слишком поздно. Нас убили.

Виктор привел нас к двум своим товарищам-эвенам. На них были дешевые советские комбинезоны и бейсболки с логотипом Университета Аляски – видимо, перенесенные ветром через Берингов пролив. Они были единственными, кто в селе работал. Работа, однако, у них была своеобразная. Большими паяльными лампами они обжигали шкуру огромного забитого хряка, пока та не становилась розовой и сухой. Затем эту шкуру срезали с туши полосами, жарили и солили. “Под водку идет отлично”, – объяснили мне. Барная закуска, эвенские чипсы.

Вскоре подошел еще один мужчина, Павел Трифонов. Вместе с нами он некоторое время молча наблюдал за процессом.

– Вот чем мы теперь занимаемся, – проговорил он. – Государство не разрешает нам ловить рыбу. А оленей не осталось. Наше село называется совхозом, но никакого хозяйства давно нет. Температура здесь по большей части минусовая. Что нам тут выращивать – лимоны? Большую часть года здесь все подо льдом.

Я спросил у него, чем занималась его семья до того, как поселилась в Гадле.

– Мой дед ставил капканы, охотился, торговал с японцами, – ответил Павел. – А что я? Стою и смотрю на вот это. Я не ощущаю себя ни эвеном, ни русским. Я никем себя не ощущаю. Нас убивают. Нет, уже убили. Это медленный геноцид, и процесс скоро завершится.

Как перестать рассказывать об этом, как избавиться от чувства, что ты окружен тенями? Однажды зимой я пришел к Дмитрию Лихачеву, прославленному ученому, специалисту по древнерусской литературе. Он работал в ленинградском Институте русской литературы, который называют Пушкинским Домом. Лихачеву было 84 года. В его служебном кабинете, словно нарочно, не было ничего советского. Входя сюда, ты испытывал чувства, противоположные тем, что были у бедного эмигранта из набоковского рассказа “Посещение музея”, который, зайдя в провинциальный музей во Франции, вдруг попал в Россию, но это была “не Россия моей памяти, а всамделишная, сегодняшняя”. Попав в кабинет Лихачева, вы переносились в иное время. Здесь были томики словаря Даля, дореволюционные часы, а на том месте, где мог бы находиться унылый портрет генерального секретаря, висел прекрасный Пушкин. Каким-то образом этот кабинет не производил впечатления декорации. Это не была фантазия на тему, это было проявление сосредоточенности и небрежения. В городе,

где тысячи книг в главной библиотеке сгорели и превратились в труху из-за небрежности сотрудников<sup>40</sup>, где на стенах Эрмитажа выпцвели картины Рембрандта, Лихачев создал идеальный кабинет для чтения и размышлений.

– Больше всего я люблю тишину, – сказал он мне. – Россия – шумная страна.

В детстве Лихачев из окна наблюдал за событиями Февральской и Октябрьской революций. А через десять лет объект наблюдения – формирование советской цивилизации – приблизился вплотную, благодаря пятилетнему заключению в исправительно-трудовом лагере. Лихачева арестовали в 1928 году за участие в студенческом научном кружке “Космическая Академия наук”, который представлял для Кремля примерно такую же опасность, как “Гарвард лампун”<sup>41</sup> для Белого дома. Для избрания в “академию” Лихачев представил пародийный научный доклад о необходимости восстановления в русском языке буквы “ять”. Эту букву большевики после революции упразднили в рамках “модернизации” русского языка. Впоследствии один из следователей поносил Лихачева за то, что по его милости ему приходится тратить время на такую ерунду.

– Какая еще реформа языка?! – кричал на него следователь. – Может, при социализме вообще не будет никакого языка!

Большую часть срока Лихачев провел на Соловках, в лагере, который в 1920-е годы по приказу Ленина учредили на островах в Белом море. Монастырь, располагавшийся на Большом Соловецком острове, и при царях служил тюрьмой, но разницу между царскими репрессиями и большевистским террором помогает понять простая статистика. С XVI века до 1917 года, когда пала династия Романовых, в Соловецком монастыре побывало 316 узников. Только в ночь 28 ноября 1929 года в лагере расстреляли 300 человек. Лихачев слышал эти выстрелы.

– Следующей осенью ко мне приехали на свидание родители. Мы сняли комнату у вольнонаемного охранника, – рассказывал Лихачев. – И вот вечером прибегает человек и говорит, что надзиратели приходили за мной в барак. Я сказал родителям, что должен идти: очевидно, меня вызывают на ночную работу. И пусть они меня не ждут. Я не мог сказать им, что за мной приходили, чтобы увезти на расстрел. Я спрятался в поленнице, чтобы они не видели, как меня уводят. Расстрел шел всю ночь. Меня не нашли. А я ведь должен был оказаться в числе этих очередных 300 человек. Значит, взяли кого-то вместо меня. Утром я вышел из своего укрытия другим человеком. Прошло с тех пор столько времени – 60 лет! – а я до сих пор не могу это забыть. Расстреляли ровно 300 человек, для острастки. 300 выстрелов, по одному на человека. Расстреливал пьяный палач, многие умерли не сразу. Но тела все равно сбросили в большую яму. Этот палач старше меня. Он еще жив.

Весной 1988 года, через некоторое время после скандала со статьей Нины Андреевой, я шел по Арбату – пешеходной улице в центре Москвы – и увидел молодую женщину лет 20 с небольшим. Она собирала подписи. В 1988 году это еще было опасным занятием. Я видел, как людей арестовывали на Арбате и Пушкинской площади за раздачу листовок и организацию “несанкционированных” демонстраций. Сашу Подрабиника регулярно арестовывали, когда он раздавал на улице свою “Экспресс-хронику”.

Вокруг женщины собралось человек шесть. Двое поставили свои подписи; остальные стояли на некотором расстоянии и просто слушали. Женщина назвалась Еленой. На тонких подписных листах, трепыхавшихся на ветру, значилось новое “историческое антисталинистское” общество под названием “Мемориал”.

---

<sup>40</sup> Имеется в виду пожар в Библиотеке Академии наук СССР в феврале 1988 года.

<sup>41</sup> “Гарвард лампун” (*The Harvard Lampoon*) – американский юмористический журнал, издается с 1876 года.

“Мемориал”, по словам Елены, хотел “вернуть имена” жертвам сталинской эпохи, хотел поставить им памятники, организовать исследовательские центры. Чем больше она объясняла, тем больше я понимал, что их целью было создание советского Яд ва-Шема – мемориального комплекса в Иерусалиме, посвященного памяти шести миллионов евреев, погибших в Холокосте. Она говорила об “именах”, о “возвращении имен”, а я вспоминал, как почти за 20 лет до этого был в Яд ва-Шеме и зашел в сумрачный зал имен – помещение, содержащее колоссальную картотеку, листы с именами погибших. До этого момента я не мог вообразить масштабов Холокоста. В школе учителя предлагали нам представить, что жители четырех из пяти крупнейших районов, нью-йоркских боро<sup>42</sup>, погибли от отравляющих газов. Но только в этом строгом помещении, окруженный именами убитых, я почувствовал, о чем шла речь. А что писал Солженицын? Сколько человек, по его подсчетам, убил советский режим? 60 миллионов?

Елена сказала мне, как узнать больше о “Мемориале”. Она посоветовала встретиться с инициаторами движения Львом Пономаревым (в будущем – доверенное лицо Сахарова на выборах народных депутатов) или культурным активистом Юрием Самодуровым (в будущем – правозащитник). Пономарев жил на далекой московской окраине, где сразу за панельными домами начинался березовый лес. Ему было лет 40 с небольшим, но выглядел он много моложе. На типичного взлохмаченного интеллигента он совсем не походил, скорее был похож на американского астронавта: такой же подтянутый и аккуратно подстриженный. Пономарев рассказывал о том, как начался “Мемориал”; время от времени рассказ прерывался его маленькой дочкой, вбегавшей в комнату с сообщением о погоде (“На улице снег!”) или об ужине (“Скоро будет готово!”). По его словам, он, как и многие думающие люди, которым было от 20 до 50, поначалу скептически относился к приходу Горбачева. Но когда из ссылки освободили Сахарова, “наши взгляды начали меняться”.

“Многие, и я в том числе, считали, что, для того чтобы разрушить систему, нужно первым делом рассказать о том, сколько было жертв, внедрить мысль, что необходимо поставить памятники убитым и опубликовать архивы, – говорил Пономарев. – Это и есть настоящее начало перестройки: правда. После этого процесс будет не остановить. Но без общего признания, что система дискредитировала себя и виновна во множестве преступлений, в любой момент может начаться новое закручивание гаек. С Юрием Самодуровым мы познакомились зимой 1987 года. Мы организовали инициативную группу – человек 15. В то время появлялось много неформальных объединений. Общую встречу мы провели на чьей-то квартире. Мы сели составлять воззвание, чтобы начать нашу кампанию. Но найти верные формулировки оказалось очень нелегко. Например, мы знали, что были убиты миллионы людей. В этом никто не сомневался. Но мы все равно не были уверены, стоит ли писать в нашей петиции слово «миллионы». У нас еще не было окончательных доказательств. Мы боялись отпугнуть людей”.

Основатели “Мемориала”, в основном никому не известные молодые ученые и литераторы, поначалу пытались собирать подписи у себя на работе. Это казалось наиболее безопасным. Но их ждало разочарование: даже близкие друзья, которых мемориальцы знали много лет, отказывались подписывать петицию.

“Многие соглашались с нашими целями, но побаивались, – объяснял Пономарев. – Было ясно, что они опасаются, не завербовали ли нас, не заманиваем ли мы их в какую-то ловушку. Тогда мы решили действовать безлично: выходить на улицу и собирать подписи у прохожих. А поскольку мы хотели, чтобы наше обращение имело законную силу, мы просили указывать свои имена и адреса. А такое людям внушает опасения. В нашей стране это

---

<sup>42</sup> Боро – крупнейшая административная единица Нью-Йорка. Пять боро – Манхэттен, Бруклин, Бронкс, Квинс, Стейтен-Айленд.

может быть чревато тяжелыми последствиями. Так что недоверчивое отношение имеет глубокие корни. Но люди откликались! Оказалось, что, несмотря ни на что, они к этому готовы. Это был потрясающий социологический опыт. Мы увидели, что люди готовы называть свои имена и адреса, хотя мы вполне могли оказаться агентами КГБ. Но они нам доверяли”.

Обычно мемориальцы выходили на улицу по трое. Один держал плакат “Подпишите обращение!”, другой собирал подписи, у третьего в руках была цитата из речи Горбачева о том, что в истории не должно оставаться белых пятен. Горбачев все еще обладал огромной властью и популярностью. Но, по словам Льва, мемориальцы еще и надеялись, что цитата из Горбачева отпугнет милицию. Этот фокус срабатывал не всегда. Активистов часто арестовывали, а потом они вдруг заметили, что это происходит все реже. Вероятно, имело место божественное – или партийное – вмешательство.

Чтобы стать солидным историческим обществом, собирающимся сохранять память о недавнем прошлом, “Мемориалу” требовалось заручиться поддержкой историков. Это было почти невыполнимой задачей. За годы советской власти историческая наука деградировала до такой степени, что мемориальцы никому не могли доверять; те, кто их устраивал, например Дима Юрасов, не были профессионалами.

Было, впрочем, одно исключение: молодой ученый Арсений Рогинский. При Сталине отца Рогинского арестовывали дважды. Он умер в 1951 году в тюрьме в Ленинграде – Арсению тогда было пять лет. Как часто бывало, КГБ не удосужился сообщить семье о смерти Рогинского-старшего. Вплоть до 1955 года мать Арсения отсылала посылки в лагеря и ждала мужа. Семья узнала о его смерти из телеграммы, уведомлявшей, что “посылка адресатом не получена”. Позднее Рогинским выдали справку, в которой в качестве причины смерти указывался сердечный приступ. “Когда я увидел этот документ, мне было восемь или девять лет, – рассказывал мне Арсений в офисе «Мемориала». – Я увидел печать с гербом Советского Союза, но все равно понял, что это какая-то фальшивка. Нам лгали и даже не заботились о правдоподобии того, что писали. Вот тогда-то я и решил стать историком”.

Арсений Рогинский учился в Тарту, эстонском университетском городе; в 1960-е там царил дух, похожий на атмосферу академического андеграунда Беркли. Самым заметным преподавателем Тартуского университета и научным руководителем Рогинского был историк культуры Юрий Лотман. В те времена, когда читать лекции о литературе и рекомендовать к прочтению произведения, объявленные “антисоветскими”, было невозможно, Лотман со своими студентами анализировал художественный и культурный текст методами неприкрыто еретическими для общества, в котором они жили. Их отказ от новояза и сведения всего к марксистско-ленинским категориям был формой диссидентства. В Тарту среди однокашников Рогинского были Никита Охотин, в будущем один из первых сотрудников “Мемориала”, и Габриэль Суперфин, помогавший Солженицыну в работе над “Архипелагом ГУЛАГ” и в 1970-е годы отправленный в лагеря. Часто приезжала к ним московская поэтесса Наталья Горбаневская, которая вместе с Павлом Литвиновым вышла на Красную площадь в 1968 году. Окончив университет и переехав в Ленинград, Рогинский совершил отчаянно рискованный поступок. Он вместе с друзьями основал подпольный альманах “Память” (не путать с расистским националистическим обществом с тем же названием). “Память” Рогинского в некотором роде была предшественницей “Мемориала”. Они начали тайно собирать архив советских документов сталинского времени и готовили сборники для публикации в самиздате. Вдохновившись примером солженицынского “Архипелага ГУЛАГ”, Рогинский поговорил с десятками людей, выживших в лагерях. “Больше всего я хотел доказать, что в этой стране возможно заниматься историей XX века”, – рассказывал он мне. Довольно скоро Рогинским заинтересовался КГБ. Несколько раз у него в квартире проводили обыск, прослушивали его телефон, вызывали на допросы. Но хотя КГБ явно понимал, чем занимается Рогинский, он не собирался облегчать им задачу: все свои пленки и бумаги он тщательно

прятал. Комитетчики так и не нашли никаких доказательств. В 1981 году КГБ отбросил все юридические условности. Рогинского арестовали и приговорили к четырем годам лагерей. Его перебрасывали из лагеря в лагерь, опасаясь, что он “заразит” сокамерников антисоветскими идеями. Кроме того, ему хотели создать по-настоящему тяжелые условия. Когда наконец в 1985 году Рогинский вернулся в Москву, у власти уже был Горбачев. Рогинский был готов повторить свое “преступление”. “Я предполагал, что рано или поздно история победит глупость и жестокость”, – сказал он мне.

Весной 1988 года “Мемориал” включил в свое обращение тысячи имен. Горбачев собирався в конце июня провести партийную конференцию, чтобы наметить переход к более демократической политической системе. “Мемориал” хотел воспользоваться этим случаем, чтобы упрочить свое положение. Для этого обществу требовалась поддержка наверху, и нужны были люди, которые обратили бы на них внимание хотя бы реформаторов из партийного руководства. Нужны были люди с именем, обладавшие политическим весом. Большинство имен было очевидно: разумеется, Сахаров; литераторы – Алесь Адамович, Дмитрий Лихачев, Даниил Гранин, Лев Разгон, Анатолий Рыбаков, Юрий Карякин; редактор “Огонька” Виталий Коротич; наконец, Борис Ельцин, которого за строптивость выгнали из политбюро (это событие быстро превратилось в легенду).

Кроме того, в списке “Мемориала” значилось два историка. Первый – Рой Александрович Медведев. При Хрущеве и Брежневе были и другие ученые, которые старались работать честно, сторонясь партийных указаний и закрытых архивов. Еще одного из учителей Рогинского, Михаила Гефтера, хорошо знали западные историки: Гефтер был автором работ об “отклонениях” эпохи сталинизма. А Виктор Данилов предпринял первую попытку описать размах и жестокость коллективизации, что стало для своего времени откровением и также получило признание за рубежом.

Но западные историки пытались осознать масштаб советской катастрофы, полагаясь почти исключительно на опубликованные советские документы, литературу и свидетельства эмигрантов. И лишь один историк, живущий в Москве, действительно помогал окружающему миру понять Сталина и его преемников. В 1971 году на Западе была опубликована книга Медведева “К суду истории”. Она поразила зарубежных ученых бескомпромиссным обличением Сталина и массой собранных свидетельств.

Отправляясь в Москву, я собирался непременно познакомиться с Роем Медведевым. Десятки моих предшественников, особенно американские и итальянские корреспонденты, обращались к нему не только за глубоким анализом, но и за слухами: кто с кем борется в партийных верхах, кто в политбюро слег с простудой и скоро умрет. Те же источники в среде партийной номенклатуры, бюрократии и журналистики, которые предоставили Медведеву информацию для книги “К суду истории”, снабжали его сведениями, которые иностранцам больше негде было добыть.

Рой и его жена Галина жили на улице Дыбенко, на окраине города, недалеко от аэропорта Шереметьево. В крохотном кабинете Медведева были аккуратнейшим образом расставлены книги и папки, образцовая организация пространства была вынужденной. Между папками были вложены разделители с надписями “старые ленинцы”, “Берия”, “Брежнев”. Брат-близнец Роя Жорес, высланный в 1973 году, жил в Лондоне, в буржуазном районе Милл-Хилл. Свой кабинет Жорес обставил примерно так же. За окном текла лондонская жизнь, но у себя в квартире Жорес воссоздал Россию. Все эти годы вынужденной разлуки Рой и Жорес обменивались необходимым, пользуясь любезностью западных дипломатов и журналистов. Для работы Жореса над книгами о советском сельском хозяйстве и Чернобыльской аварии Рой посылал ему газетные вырезки и другие материалы. Жорес занимался

правами Роя на зарубежные публикации и отправлял ему объемистые посылки с книгами, ластиками, конвертами, папками, а также бельем, носками и обувью.

До прихода к власти Горбачева Рой Медведев считался диссидентом. Он учился и преподавал в провинции. “Секретный доклад” Хрущева на XX съезде в 1956 году и антисталинскую риторику на XXII съезде в 1961 году Медведев воспринял как положительный сигнал. Много лет он собирал материалы, интервьюировал партийных чиновников, бывших лагерников и других свидетелей эпохи. Он раздвигал границы возможного. Но оказалось, что отпущенное ему время уже истекало. Когда он закончил свой труд и отправил рукопись “К суду истории” на Запад для публикации, Хрущева уже сместили, а Брежнев начинал кампанию по реабилитации Сталина.

Медведева, который оставался членом Коммунистической партии, вскоре из нее исключили. Выгнанный из партийных рядов, он не стал своим и для диссидентов. Сахаров, редко позволявший себе личные выпады, в ряде мест ясно дает понять, что в начале 1970-х не только не соглашался с медведевскими марксистскими взглядами, но и вообще не вполне доверял ему. Не обвиняя его впрямую, Сахаров задается вопросом, не пользовался ли Медведев негласной поддержкой КГБ, не имел ли каких-то связей с этим учреждением. Другие диссиденты были гораздо менее сдержанны в своих подозрениях.

Мне было трудно поверить в худшее. В начале 1980-х за дверью у Медведева сидел кагэбэшник. Вряд ли его заданием было дарить цветы зарубежным гостям. Некоторых посетителей эта фигура отпугивала, но не всех. Когда я оказался в Москве, Рой по-прежнему помогал всем, кто его об этом просил. Я думаю, что потерей репутации у диссидентов и затем у либеральной интеллигенции он был обязан не тайным контактам с партийными начальниками и органами, а нежеланием отказаться от марксизма. Мне казалось странным, что люди, которые за 30 лет не проронили ни звука, легко прощали себе свою трусость, но не могли простить Медведеву его верности убеждениям. Этот человек впервые понял, почему занимается наукой, во время допроса в Лефортовской тюрьме в середине 1970-х.

“Товарищ Медведев, скажите, пожалуйста, – спросил его следователь КГБ, – стали бы вы писать свои книги о Сталине, если бы вашего отца не отправили в лагерь?”

До эпохи гласности оставалось почти 20 лет, когда КГБ активно интересовался Роем и Жоресом Медведевыми. Жорес в своей области был тем же, чем Рой в историографии. Он был биологом и геронтологом и писал о том, как при Сталине громили генетику, а при Брежневе боролись с инакомыслящими при помощи карательной психиатрии. В 1970 году Жореса отправили в сумасшедший дом с диагнозом “параноидальная шизофрения с навязчивым бредом реформаторства”. Только активность Роя, привлекшего для защиты брата видных советских и западных ученых и писателей, заставило Кремль через три недели выпустить Жореса.

Следователь в Лефортово, без сомнения, задал Рою правильный вопрос. “Почему?” До этого никто не спрашивал его об этом вот так – без обиняков, да еще с такой дотошной настойчивостью. “Только тогда я вдруг понял, как тесно переплетена моя судьба с судьбой отца, – сказал мне как-то Рой, когда мы сидели в его крохотном кабинете. – Там, в Лефортово, я все вспомнил”.

В их дверь постучали в августовскую ночь 1938 года. Повторилась сцена, разыгрывавшаяся многие тысячи раз. Сотрудники НКВД с молниеносной скоростью влились в квартиру и принялись за дело. В это время худенькие светловолосые близнецы, сидя в кроватях, пытались разобраться, о чем говорят за дверью детской.

– Почему вы так поздно, товарищи? – спросил их отец.

Ответа они не расслышали.

Уже много недель мальчики видели, что отец подавлен, почти перестал есть. Они не могли взять в толк: почему их отца, Александра Медведева, полкового комиссара Красной

армии, преподавателя диалектического и исторического материализма в Военно-политической академии имени Толмачева, уволили со службы? И почему этим летом их раньше времени забрали из пионерлагеря домой? Кое-кто из друзей семьи уже был арестован, но дети не понимали того, что прекрасно понимал их отец: основным принципом террора была непредсказуемость. Для репрессивных действий не было никаких настоящих причин, если не считать жестокой, возможно, патологической личности Иосифа Сталина и созданной им системы.

Когда наутро мальчики проснулись, ночные гости еще не ушли. Они открывали и с грохотом захлопывали шкафы, двигали мебель, рылись в вещах. Потом дверь детской открылась, и вошел отец. Он был в гимнастерке, но без ремня. Выглядел он так, будто не спал несколько суток. Молча сел на кровать и обнял сыновей. Было в этом объятии что-то прощальное и пронзительное. Жорес говорил, что помнит, как его щеку царапала колючая отцовская щетина, как физически был ошутим отцовский страх и как они все трое заплакали.

А потом, через несколько минут, гости ушли, забрав с собой Александра Медведева.

В первые месяцы после ареста Рой, Жорес и мать получали от Александра письма. Он писал им с Дальнего Востока, из колымского лагеря. Некоторые письма были предназначены для пересылки дальше, в ЦК партии, в Верховный суд, в НКВД. В них он настаивал на своей невинности.

“Нам казалось, что это какая-то нелепость, ошибка, которая не могла произойти с нами, – говорил Жорес. – Конечно, так думали все в стране, когда это их касалось”.

Своего отца Рой и Жорес обожали. Он был для них взыскательным учителем и примером широкой образованности, он побуждал их много читать – все, от Джека Лондона до русской классики. В письмах с Колымы он ни разу не обмолвился о своих страданиях. Вместо этого он говорил о будущем сыновей.

Здравствуйте, дорогие Рой и Ресс!

Ну вот и к нам наконец дошла весна. Она у нас погостит недолго. <...> Физически я очень далеко от вас. Но в своих мыслях и чувствах я близок вам как никогда: вы “главный предмет моих привычных дум”, смысл и цель жизни. <...> Именно теперь, на пороге вашего вступления в юношеский возраст, в пору цветения жизни, я бы хотел быть подле вас – передать вам свои знания и опыт и по возможности уберечь вас от юношеских ошибок. Но судьба решила иначе! И я хотел бы, чтобы разлука не омрачила вашей юности...

Главное – учитесь, упорно, настойчиво, не ограничиваясь школьной программой. Пользуйтесь временем, когда восприимчивость особенно велика, а память особенно цепка. Не разбрасывайтесь, будьте дисциплинированы в труде. Плеханов любил говорить: “Дисциплина труда – великое дело. При ней и посредственный человек может создать нечто значительное”. А вы – способные, талантливые ребята. Учитесь думать и быть организованными... Терпение, выдержка – вот что вам особенно нужно. Учитесь преодолевать трудности, как бы велики они ни оказались... Извините за поучительный тон...

С любовью,

Ваш отец

Зимой 1941 года семья Медведевых получила от Александра сообщение, что он в лагерной больнице, ему нужны витамины. А еще через несколько месяцев денежный перевод, отправленный на Колыму, вернулся с пометой: “Возврат. Смерть адресата”. Некоторое

время семья не могла поверить в эту страшную правду и продолжала слать в лагерь посылки. Но всякий раз они возвращались с тем же страшным уведомлением.

Когда Рой был еще подростком, мать попросила его: “Пожалуйста, не становись историком или философом. Это слишком опасно”. Еще это было слишком болезненно. Когда Рой в 1940-е годы учился в ленинградском университете, он начал собственное расследование и постепенно докопался до правды: он узнал, кто предал его отца. В разгар террора Борис Чагин был кадровым военным и одновременно агентом НКВД. На своих сослуживцев он писал доносы, из-за которых многие, в том числе и Медведев, были отправлены в лагеря. Оказалось, что в Ленинграде Чагин занимал престижную профессорскую должность на том же факультете, где учился Рой. Чагин преподавал там диалектический материализм.

Братья Медведевы со стороны наблюдали за человеком, который предал их отца. Жорес скрупулезно изучил труды Чагина: “Борьбу марксизма-ленинизма против философского ревизионизма в кон. XIX – нач. XX вв.”, “Борьбу марксизма-ленинизма против реакционной буржуазной философии второй половины XIX века”. Они ничего не стали предпринимать. Они не стали обвинять его. Они приняли этот факт к сведению. “Я презирал его, но не ненавидел и не хотел ему мстить”, – рассказывал Жорес.

Много лет спустя, когда Рой собирал рассказы жертв ГУЛага для книги “К суду истории”, ему домой позвонила какая-то женщина. “Вы сын Александра Медведева?” – спросила она. Рой подтвердил. Тогда она пригласила его к себе: она жила в вартире с несколькими другими бывшими колымчанами. В тот вечер Медведев узнал, как умер его отец. Он повредил себе руку, работая на медной шахте, и был переведен на работу в совхозную теплицу. У него начался рак кости, его положили в лагерную больницу. Лагерные товарищи поняли, что Александра нет в живых, когда в грязном совхозном дворе появился их бригадир, горделиво вышагивавший в темном шерстяном пиджаке – в том самом, в котором Александра Медведева привезли на Колыму.

Хотя Рой Медведев был известным историком, “Мемориалу” он не подходил, а ему не подходил “Мемориал”. Номинально он состоял там в Общественном комитете, куда входили известные люди старшего поколения. Но на собрания “Мемориала” Медведев не ходил и общество ни во что не ставил. Рой считал, что единственным легитимным субъектами власти являются Горбачев и партия. “Мемориал” казался ему пустопорожной глупостью.

Так что в “Мемориале” вскорости появилась другая фигура, занявшая место главного историка и политолога. Это был известный лицедей, циник, в свое время проректор в Высшей комсомольской школе, член редколлегии журнала “Коммунист”. Относительно своего прошлого Юрий Афанасьев не питал иллюзий. “Я уже не помню, сколько лет я был по шею в дерьме”, – сказал он в одной из телепередач.

Его послужной список поражал. В мой первый год в Москве Афанасьев уже был ведущим на всех мероприятиях, которые устраивали демократы. Почти всюду – на субботних заседаниях “Московской трибуны”, на лекциях о Сталине – микрофон стоял перед Афанасьевым: он модерировал дискуссии, представлял выступающих и выступал сам. Специалист по французской историографии, своим крепким сложением он скорее напоминал университетского футбольного тренера. В нем была мужиковатая уверенность человека, прошедшего на своем веку много заседаний и совещаний – сперва комсомольских, затем оппозиционных.

Его метаморфоза вызывала не столько насмешку, сколько жалость. В 1970-е этот человек ни за что в жизни не посмел бы защищать Роя Медведева, а в конце 1980-х он уже обличал его как “безнадежного реакционера”. Но, несмотря на его самонадеянность и напор, его анализ происходящего в стране и прогнозы были на удивление точны. Иногда своей само-

уверенностью Афанасьев напоминал мне Нормана Мейлера<sup>43</sup>. Он знал, что наломал в жизни дров, но настаивал на своем праве быть услышанным. Кампания за “возвращение истории”, ранние нападки на “сталинско-брежневский” Верховный Совет и на самого Горбачева – всем этим он занимался до того, как это вошло в моду. Его не очень любили – у него не было ни деликатности Сахарова, ни его достоинства, – но Афанасьев часто оказывался прав. Предсказания же Медведева были еще менее надежны, чем слухи, которые он пересказывал. Например, когда в декабре 1990 года Эдуард Шеварднадзе покинул пост министра иностранных дел, объявив, что на страну надвигается диктатура, Медведев твердил всем, кто готов был его слушать, что Шеварднадзе уходит из-за проблем в Грузинской ССР.

Афанасьев вырос в Ульяновской области, на родине Ленина. Его отец, ремонтный рабочий, провел несколько лет в восточносибирском лагере по обычному для тех лет делу: он выдал с колхозного склада несколько килограммов муки для одной голодающей семьи. “Но что странно, – рассказывал мне Афанасьев, сидя в своем кабинете в Историко-архивном институте, – мы не воспринимали это как великое горе или трагедию: все вокруг сидели, кто взял в колхозе какие-нибудь ошметки, кто на работу однажды не вышел. А о Сталине мы никогда не говорили, так что я его ни в чем не подозревал”.

Как и Горбачев, Афанасьев был провинциальным парнем, учившимся достаточно хорошо, чтобы попасть в лучший вуз страны – МГУ. Студентом Афанасьев был, по его словам, “таким же, как все. Я, как всякий прилежный комсомолец, как всякий коммунист, вызубрил наизусть «Краткий курс»”. В марте 1953 года, вечером накануне похорон Сталина, Афанасьев бродил по улицам около Кремля. К Колонному залу, где лежал в гробу Сталин, шли десятки тысяч людей, охваченные истерией и ужасом: земной бог умер. В той давке погибли десятки, если не сотни людей. Афанасьев сумел выбраться из толпы. Идя по улице, он услышал, как в подворотне пьяные горланят песни. Такого разухабистого пения он никогда еще не слышал. Пьянчуги праздновали смерть Сталина.

“Думаю, у каждого в жизни бывает один-два случая, когда видишь или слышишь что-то такое, от чего твоя жизнь вдруг начинает течь в другом направлении. Когда я услышал этих забулдыг, мое незамутненное политическое сознание вдруг помутнело, – вспоминал Афанасьев. – Я впервые ощутил сомнение. Только через три года, после речи Хрущева, я начал задумываться как следует, но именно это пьяное празднование в московской подворотне впервые заставило меня усомниться. Я после этого стал другим”.

После университета Афанасьев работал комсомольским секретарем в Красноярске – недалеко от тех мест, где сидел его отец. Никаким радикалом он тогда, разумеется, не был. Он верил в “безграничные возможности” партии. С друзьями он разговаривал о великих перспективах ленинской идеологии и об исполинской ГЭС, которую они – вернее, рабочие – возводили.

“Этот энтузиазм продержался до конца 1960-х, – замечал Афанасьев, – до времени, когда Брежнев взялся реанимировать Сталина”.

Вернувшись в Москву, Афанасьев работал в аппарате ЦК комсомола, а затем защитил диссертацию по истории: его специальностью стала французская историография. Он был достаточно сообразителен, чтобы не пойти на кафедру советской истории (“вот уж где собрались одни идиоты и приспособленцы!”), но в своих статьях восхвалял все, что положено, и клеймил “преклонение перед Западом”. Многие годы в своих работах он доказывал, что “буржуазные историки” чрезвычайно недооценивают значение Октябрьской революции. Главным образом он, по его словам, “прочесывал их тексты на предмет «вопиющих недостатков»”.

---

<sup>43</sup> Норман Мейлер (1923–2007) – знаменитый американский писатель и политический журналист, автор романов и нескольких биографий, выдвигался на пост мэра Нью-Йорка.

Как и многие люди его поколения, Афанасьев развил в себе двоемыслие. Он так беспорочно служил генеральной линии, что его несколько раз отправляли на стажировку во Францию. В Париже Афанасьев читал книги диссидентов и эмигрантов. При этом он находился в академической среде, где мог позволить себе говорить чуть свободнее. Ко времени возвращения в Москву Афанасьев снова немного изменился. Он снова услышал горлопание в подворотне, и его душа – или какая-то часть души – на них отозвалась. Ему становилось все труднее отрицать очевидное. Остатки его веры в коммунистические идеалы стремительно улетучивались. Польские студенты рассказали ему о сталинском приказе расстрелять в Катыни польских офицеров. На глазах Афанасьева его старших коллег, преподавателей истории, арестовывали или в лучшем случае увольняли за отклонения от курса и принуждали к молчанию.

На рубеже 1970–1980-х годов Афанасьев занимался “критикой буржуазной историографии” в московском Институте всеобщей истории и работал в журнале “Коммунист”, теоретическом органе ЦК КПСС. Когда к власти пришел Горбачев, Афанасьев написал ему несколько смелых писем о ситуации в советской исторической науке: он призывал генсека своей властью отменить ограничения для работы историков и открыть архивы партии и КГБ. Прямых ответов Афанасьев не получил. Но в 1986 году он был назначен на ключевую должность – ректором Историко-архивного института. Он немедленно воспользовался своим новым положением, выступив с первыми публичными лекциями с критикой Сталина и представив общественности нескольких новых людей, в том числе Диму Юрасова.

Афанасьев твердо намеревался использовать предоставившиеся ему возможности, для того чтобы облегчить историкам изучение советского прошлого. Получив доступ к части партийных архивов, он обнаружил письма Ольги Шатуновской – члена Комитета партийного контроля при ЦК КПСС в хрущевское время. Шатуновская писала, что у нее собрано 64 папки с документами КГБ и КПСС, и согласно этим документам, с января 1935-го по 1941 год было арестовано 19 800 000 человек. Из них семь миллионов были казнены в тюрьмах. Ее утверждения подкреплялись конкретными данными о том, сколько человек было расстреляно, где и когда. Но папки, которые описывала Шатуновская, как выяснилось, “пропали”. Знакомясь с подобными письмами, Афанасьев начал понимать, что партия и КГБ, вероятно, уничтожили самые опасные для них архивные свидетельства.

Одна из первых схваток с партийной номенклатурой состоялась у Афанасьева из-за его утверждения, что исторической наукой должны заниматься не члены ЦК и даже не генеральный секретарь, а профессиональные ученые. Хотя в 1987 году речь Горбачева об истории помогла начать процесс, Афанасьев считал, что таких речей больше быть не должно. “Пока существуют такие вещи, – говорил он, – будет существовать и представление, что история делается не в архивах, университетах, людьми пишущими, а на партийных съездах и в парткомах. Такая история остается прислужницей пропаганды и продолжением политики, а не областью знаний того же уровня, как прочие науки или литература. Если власть хочет приобрести авторитет, она должна честно заявить: «Мы полностью порываем с прежним режимом»”.

“Мы рассуждаем о перестройке и говорим: прежняя модель социализма оказалась негодной, значит, нужно построить новую модель и воплотить ее в жизнь, – продолжал Афанасьев. – И опять мы ставим все с ног на голову. Нам надо отказаться от самой идеи целенаправленного построения идеального общества, от культурной привычки верить в безграничные способности и возможности человеческого разума, в частности в возможность искусственно сконструировать модель общества, а потом реализовать ее. Просветители и утописты думали, что возможности безграничны. Что человеческий разум может родить идею справедливого общества, сформулировать его теорию. А потом, по их мнению, эту теорию можно реализовать на практике. Иными словами, общество всеобщей справедливо-

сти и процветания можно выдумать из головы. Теперь мы наблюдаем закат этой культуры. Маркс и Ленин исчезают. Они вытесняются так же, как «верная» ньютонова механика была вытеснена общей теорией относительности Эйнштейна”.

К июню 1988 года победа Горбачева в истории с письмом Нины Андреевой позволила руководителям “Мемориала” снова начать надеяться. Афанасьев и либеральный первый секретарь правления Союза кинематографистов Элем Климов решили, что XIX партконференция, которая должна была вот-вот начаться, станет для “Мемориала” шансом. Их обоих выбрали делегатами на конференцию. И у них появлялась возможность представить программу “Мемориала” высшему партийному руководству.

Афанасьев успел подвести политическую и идеологическую базу под заявленные “Мемориалом” цели и задачи. За несколько недель до конференции он составил главную политическую книгу горбачевской эпохи: сборник “Иного не дано”, в который вошли 35 статей ведущих интеллектуалов поколения оттепели. В эпоху гласности эти люди встали во главе общественного движения. Книга самого Горбачева “Перестройка” была переполнена партийными клише, в “Иного не дано” изложение было предельно ясным, а предлагаемые возможности – реалистическими. Сборник под редакцией Афанасьева, опубликованный крупным государственным издательством “Прогресс”, читался как самиздатский манифест, однако вид имел респектабельный, поскольку был отпечатан в типографии и на хорошей бумаге. Афанасьев, Михаил Гефтер, специалист по итальянскому Возрождению Леонид Баткин, журналист Лен Карпинский написали статьи о том, что сталинизм еще не побежден и что для создания цивилизованного будущего необходимо оценить прошлое. Требование правды, трезвого взгляда на историю так или иначе звучало во всех статьях, в том числе в работах Василия Селюнина о советской бюрократии, Алексея Яблокова об экологических катастрофах, Юрия Черниченко об “агроГУЛаге” колхозов, Гавриила Попова о бессмысленности централизованной экономики. Почти всем этим ученым и журналистам приходилось годами изъясняться намеками, прибегать к эвфемизмам или вообще молчать. Присутствие среди авторов еще одного имени составило сборнику безусловную славу. Статья Андрея Сахарова “Неизбежность перестройки” показывала, что диссиденты и более широкий круг либеральной интеллигенции – союзники. Статья Сахарова по изложению не слишком отличалась от его самиздатских работ, зато различен был охват аудитории. Первый тираж сборника составил 100 000 экземпляров. До того как Сахарова выпустили из ссылки, едва ли десять тысяч человек во всей стране слышали и читали о нем что-то, кроме ругани в “Правде” и “Известиях”. О перестройке Сахаров писал так: “Это как на войне. Победа необходима”. Но, чтобы хотя бы начать побеждать в этой войне, писал он, власть должна прекратить афганскую авантюру, внести изменения в уголовный кодекс, способствовать свободе слова, пойти на радикальное сокращение стратегических и обычных вооружений. В следующие два года Горбачев будет практически буквально выполнять предписания Сахарова.

Я купил эту книгу – синяя обложка, серебряное тиснение – и через несколько дней пошел на митинг, который организовал “Мемориал”. Он проходил рядом с московским стадионом. Стоял ясный солнечный день. Люди на улице, явно радуясь свободе, с удовольствием выкрикивали лозунги и держали в руках плакаты: “Нет политическим репрессиям”, “Смерть сталинизму”, “Сталинский сапог по-прежнему нам угрожает”. На ступенях я увидел нескольких авторов сборника “Иного не дано”, они по очереди выступали. Но самое сильное впечатление произвел на меня юноша, стоявший неподалеку от Сахарова. Он держал плакат, на котором была написана знаменитая строка из поэмы Анны Ахматовой “Реквием”: “Хотелось бы всех поименно назвать”.

Во время сталинского террора Ахматова 17 месяцев, день за днем, провела в длинных очередях, узнавая о судьбе сына, которого арестовали в разгар чисток. В предисловии к поэме Ахматова писала:

“Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

– А это вы можете описать?

И я сказала:

– Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом”.

Я процитирую здесь строки из поэмы, потому что в них выражены и кредо, и дух “Мемориала”:

Опять поминальный приблизился час.  
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:

И ту, что едва до окна довели,  
И ту, что родимой не топчет земли,

И ту, что красивой тряхнув головой,  
Сказала: “Сюда прихожу, как домой”.

Хотелось бы всех поименно назвать,  
Да отняли список, и негде узнать.

Для них соткала я широкий покров  
Из бедных, у них же подслушанных слов.

О них вспоминаю всегда и везде,  
О них не забуду и в новой беде,

И если зажмут мой измученный рот,  
Которым кричит стомиллионный народ,

Пусть так же они поминают меня  
В канун моего поминального дня.

А если когда-нибудь в этой стране  
Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,  
Но только с условием – не ставить его

Ни около моря, где я родилась:  
Последняя с морем разорвана связь,

Ни в царском саду у заветного пня,  
Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я триста часов  
И где для меня не открыли засов.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь  
Забыть громохание черных марушь,

Забыть, как постылая хлопала дверь  
И выла старуха, как раненый зверь.

И пусть с неподвижных и бронзовых век  
Как слезы, струится подтаявший снег,

И голубь тюремный пусть гулит вдали,  
И тихо идут по Неве корабли.

Через несколько дней после митинга Афанасьев и Климов внесли большие мешки с подписными мемориальскими листами в ворота Кремля. В тот день открывалась XIX конференция КПСС. Партаппаратчики глядели на них с подозрением. Афанасьев и Климов вручили петиции Горбачеву и его помощникам и стали ждать ответа.

В последний день конференции – после того как Борис Ельцин мелодраматически просил восстановить его в ЦК, после баталий о поводу курса реформ – на трибуну поднялся Горбачев. Он произнес длинную речь. Перед самым ее концом он сказал, что “был поднят вопрос”, который обсуждался еще в 1961 году при Хрущеве и “был встречен тогда с одобрением”: о сооружении памятника жертвам сталинской эпохи. Теперь партия должна наконец утвердить это решение. Слова Горбачева казались приплетенными случайно, как будто он подумал об этом в последний момент. Но на самом деле это было одно из важнейших политических и эмоциональных переживаний в истории перестройки. Несмотря на то что впоследствии КПСС будет пытаться запретить “Мемориал”, будет перекрывать финансирование и срывать встречи, семена, посеянные обществом, дадут всходы, и результаты борьбы за память окажутся такими, какие никто не мог представить заранее.

## Глава 9

### Письма, пущенные в плавь

В те минуты, когда возле стадиона завершался митинг, устроенный “Мемориалом”, самолет Арнольда Еременко приземлился в Москве. Еременко жил в Магадане, дальневосточном городе, который некогда был “столицей” колымского ГУЛага. Пассажиры были утомлены десятичасовым перелетом в тесном и скрипучем аэрофлотовском лайнере. Единственная предложенная им еда состояла из стаканчика тархуна и жирного куриного крылышка. Но Арнольд вышел из самолета “в бодром настроении”. В Москве у него было важное дело.

Еременко возглавлял первое в Магадане некоммунистическое политическое объединение – “Демократическую инициативу”. Члены этого объединения решили “делегировать” его на XIX партконференцию. “Мы решили, что раз в стране начинается демократия, мы тоже имеем право быть услышанными”, – объяснял Еременко. Пустив по кругу шапку, единомышленники набрали Еременко 800 рублей на билет туда и обратно.

Перед отлетом Арнольд позвонил мне в Москву. Он сказал, что слышал мои статьи, переведенные на русский и прочитанные на “Радио Свобода”. Не мог бы я с ним встретиться? Разумеется, я согласился. Дело было не только в том, что человек, находившийся от меня почти в десяти тысячах километров, сумел заинтриговать меня. Мне давно хотелось поговорить с жителем Магадана. Для меня это название означало дальнюю даль: это был почти мифический аванпост, расположенный гораздо ближе к Лос-Анджелесу, чем к Москве. Зимы там длятся семь месяцев, минус сорок в январе считается еще умеренным холодом. В Магадане разворачивается действие двух книг из числа лучших работ о сталинизме: воспоминаний Евгении Гинзбург “Крутой маршрут” и романа ее сына Василия Аксенова “Ожог”. В каком-то смысле, писал Аксенов, “Магадан был самым свободным городом России: в нем жили спецпоселенцы и спецконтингент, СВЭ и СОЭ<sup>44</sup>, националисты, социал-демократы, эсеры, католики, магометане, буддисты... люди, признавшие себя низшими рабами и, значит, бросившие вызов судьбе”. В июне 1988 года в Магадан все еще не пускали иностранцев. Попасть туда можно было только по официальной путевке МИДа – тем, кто выбирал этот путь, показывали потемкинские деревни. Летом 1944 года именно после такой поездки вице-президент США Генри Уоллес уверился, что Колыма замечательное место, а местный начальник НКВД, знаменитый генерал Гоглидзе – “очень приятный человек, знающий свое дело, добродушный и понимающий”.

Я встретился с Арнольдом возле памятника Ленину на Октябрьской площади, недалеко от дома, где я жил. Ему было немного за 50, серебристой сединой и красивыми чертами лица он напоминал Сизара Ромеро<sup>45</sup>, а подвижностью и поджарой фигурой – боксера легчайшего веса.

– Вы Ремник? – обратился он ко мне. – Пойдемте, мне надо вам показать кое-что очень важное.

Арнольд так хорошо говорил по-английски, что, когда мы переходили на русский, мне казалось, что у него американский акцент. Возможно, он просто старался говорить попроще из жалости ко мне. По его словам, он учил английский в школе, “но в основном, слушая «голоса»” – “Радио Свобода”, “Голос Америки” и особенно Би-би-си. Очевидно, на Дальнем Востоке их глушили не так сильно, как в Москве. Пока мы шли ко мне домой, Арнольд рас-

---

<sup>44</sup> “Социально-вредные элементы”, “социально-опасные элементы”.

<sup>45</sup> Сизар Ромеро (1907–1994) – американский актер кино и телевидения.

сказал, что родился в 1937-м, в год начала Большого террора. Его отец был инженером, его направили в Магадан как спеца. В то время в Магадане еще не хватало ни барачных, ни причалов для кораблей с заключенными, которые прибывали из Владивостока каждые несколько дней.

“Этот город – порождение «ГУЛаговского бума», врата ада”, – сказал Арнольд с пугающей улыбкой. Даже в конце весны вдоль берега оставался толстый слой льда. В такие дни пароходы не могли причалить и войти в доки, и зэки, часто босые и одетые в лохмотья, километр или больше шли по льду пешком. На лед выводили лагерный оркестр, который приветствовал новопривывших маршами или вальсами.

После адского путешествия прибытие в лагерь было в некотором смысле облегчением. Арестантов из Москвы и европейской России везли на Дальний Восток в телячьих вагонах; дорога занимала не меньше месяца. Вагоны набивали битком, рассказывали, что иногда люди, умершие в пути от голода, из-за тесноты оставались в стоячем положении до самого конца. На пересылках в портах Тихоокеанского побережья инспекторы оценивали зэков. Как барышники перед торгами, они осматривали их зубы и глаза. Ощупывали бицепсы и ягодицы, проверяя, сохранился ли мышечный тонус после месяца в телячьем вагоне. В Ванино лагерное начальство в конце 1940-х заключило договор с некоторыми предприятиями на поставку 120 000 рабов в год.

Остальных заключенных грузили на пароходы, идущие в Магадан. Поскольку в 1930-е и 1940-е чистки стали обычным делом, слухи об этих морских перевозках достигали Москвы и других городов на “большой земле”. Но никакие слухи не способны были передать ужас этого пути. Румынский узник ГУЛага Михаэль Соломон писал о шоке, который испытал, когда его заталкивали в трюм парохода “Советская Латвия”, отправлявшегося в Магадан. Такой сцены, по его словам, “не могли вообразить ни Гойя, ни Густав Доре”: там были тысячи мужчин и женщин, в лохмотьях, полумертвые, покрытые волдырями и нарывами. “У подножия лестницы, по которой мы только что спустились, стояла гигантская лохань, и на ее бортиках, как птицы, в самых невероятных позах примостились женщины – они мочились или опорожняли кишечник на виду у охраны, стоявшей наверху. Ни у кого из них уже не оставалось ни стыда, ни смущения. Они казались полулюдьми-полуптицами, существами из другого мира и другой эры. Но, увидев, что к ним спускается мужчина, хотя такой же заключенный, как они, многие начали улыбаться, а кто-то даже попытался поправить волосы”.

Позже офицеры погрузили на пароход еще одну партию заключенных – на этот раз не “политических”, а убийц, воров, насильников, проституток. “Когда к нам в трюм хлынуло это месиво татуированных полуголых тел и кривящихся в обезьяньих ужимках рож, мне показалось, что нас отдали на расправу буйнопомешанным, – писала Евгения Гинзбург. – Густая духота содрогнулась от визгов, от фантастических сочетаний матерщинных слов, от дикого хохота и пения. Они всегда пели и плясали, отбивая чечетку даже там, где негде было поставить ногу. Они сию же минуту принялись терроризировать «фраерш», «контриков». Их приводило в восторг сознание, что есть на свете люди, еще более презренные, еще более отверженные, чем они, – враги народа! В течение пяти минут нам были продемонстрированы законы джунглей”. Когда подходило время еды, конвоиры подвозили к люку тележку с хлебом и бросали вниз “пайки”, как бросают пищу диким зверям.

Это медленное убийство продолжалось день за днем, во всех мыслимых формах. Случалось, пароход затирало во льдах вдали от берега, и у команды не было иного выхода, как ждать улучшения погоды и растягивать припасы, экономя на арестантах. Это могло длиться неделями, а то и месяцами. Тысячи арестантов умирали от голода и болезней. Иногда охрана оставляла трупы в трюме вместе с живыми людьми. Иногда выбрасывала их за борт на лед, где они лежали и медленно разлагались, пока их не поглощало оттаявшее море. А корабль уходил на Магадан.

В таком мире и вырос Арнольд Еременко. “Корабли приставали к берегу все время, – рассказывал он мне за кофе у нас на кухне. – Я помню длинные колонны арестантов – по пять, шесть тысяч мужчин и женщин в рванье, изможденных, сходявших на берег и двигавшихся к баракам. Конвоиры всегда били их на улице. Иногда мы слышали pistolетные выстрелы. Иногда на улице лежал труп. Наверное, не было времени его убрать”.

Профессиональная карьера у Арнольда не складывалась. В начале 1960-х он изучал инженерное дело и иностранные языки. Но его уволили, и он начал зарабатывать фарцовкой – торговать на черном рынке. Его арестовали и дали срок, десять лет. После освобождения жить в Москве не разрешили, и он вернулся в родной Магадан. Унизительный опыт ареста и тюремного заключения и все большее понимание того, что жестокость, свидетелем которой он был в детстве, оставалась сущностной частью общественного порядка в Советском Союзе, подтолкнули Еременко к протесту, он занялся политической деятельностью. В 1981 году он написал книгу, в которой обличал КПСС, и распространил ее в самиздате. За это он получил еще два года тюрьмы.

Когда в Москве наконец началась перестройка, Арнольд нахально решил заняться реформами и в Магадане. Он основал “Демократическую инициативу”. Вместе с несколькими юнцами и женщинами-домохозяйками он стоял напротив здания КГБ и выкрикивал лозунги в громкоговоритель. Его уволили со стройки. Местные горком и комитетчики отнесли к безработному инженеру и молодежи из “Демократической инициативы” как к вражеским захватчикам. Прослушивали квартиры, запугивали, сажали по ложным обвинениям.

Арнольд сказал, что мне стоит увидеть все собственными глазами. Я ответил, что всегда мечтал съездить в Магадан, но город по-прежнему закрыт.

– А вам и не нужно ездить, – ответил он. – Я вам покажу видео.

Он достал из чемоданчика видеокассету и спросил:

– У вас Бетакам или VHS?

Он пояснил, что один из членов “Демократической инициативы” купил на Аляске видеокамеру. “Это даже лучше газеты, которой у нас, конечно, нет”.

Пленка рябила и дрожала. Наконец камера сфокусировалась на толпе в тысячи две с половиной человек, стоявшей на главной городской площади. Площади Ленина, разумеется<sup>46</sup>. Плакаты выражали протест против того, что партийное начальство делегировало само себя на партконференцию в Москву. Был тут и Арнольд, требовавший в громкоговоритель, чтобы партия, которая является “единственной властью у нас в стране”, допустила также беспартийных активистов представлять Магадан в Москве. Другой демонстрант, указывая на “Белый дом” – сравнительно элегантное здание горкома партии, интересовался, почему “коммунисты всегда захватывают все добро”.

– Вот где живет мафия! – выкрикивал он. – Вот почему их денно и нощно охраняет милиция! Они преступники!

Еще один оратор потребовал, чтобы гостиницу для приезжавших в Магадан партийных чинов переоборудовали в детский сад. Расслышать все выступления было трудно. Милиция выставила неподалеку от митинга динамики и на полную громкость врубила советскую поп-музыку, в которой должна была потонуть демократия.

Драматическим моментом было появление на трибуне партийной чиновницы Людмилы Романовой, согласившейся выступить перед митингующими. Молодая женщина говорила с воодушевлением, но изъяснялась все на том же партийном языке. Она сообщила протестантам, что митинг устроен “без соответствующего разрешения партийных органов”. Но что трудящиеся “будут приглашены к участию” в обсуждении вопросов о новых школах и о других улучшениях бытовых условий.

---

<sup>46</sup> Ныне Соборная площадь.

Самые вежливые из демонстрантов кричали:

– Мы сыты по горло вашими обещаниями!

– Нам слова больше не нужны!

В ответ Романова строго напомнила о “советском законодательстве”.

– Вы должны знать, – сказала она, – что, согласно Конституции, политические права, данные гражданам, не должны ущемлять права других граждан!

Это никого не впечатлило: женщину освистали и согнали с трибуны.

Арнольд, показывавший мне видео, смеялся. Встав со стула, он показал на экране здание в правом верхнем углу кадра.

– Вот, – сказал он, – взгляните на это. Там в окнах видны кагэбэшники, они нас фотографируют.

На другой день Арнольд планировал пронести манифест и петицию “Демократической инициативы” на партконференцию. Мы стояли в нескольких сотнях метров от Кремля и смотрели, как черные лимузины с партийными делегатами въезжают в ворота.

– Нет, туда меня не подпустят, – констатировал Арнольд.

Оставив свои материалы в “приемной” ЦК КПСС, он пошел бронировать обратный билет в Магадан. Потом у меня дома мы смотрели фрагменты конференции по телевизору. Мы были как футбольные фанаты в первый день нового года<sup>47</sup>. Мы не могли оторваться от экрана. Арнольд шикал на партийных мумий и ободрял либералов.

– Сказать вам, что погубит этих людей? – сказал он. – Ступор! Однажды они просто сползут со сцены.

Как и большинство московских либералов, Арнольд горячо поддерживал намерение Горбачева обновить законодательство, но опасался, что партийная верхушка сведет этот план на нет. Он с удовольствием следил за тем, как Ельцин сцеплялся с Егором Лигачевым, как просил о восстановлении в ЦК и призывал к более быстрой и радикальной демократизации. Завороженный предстоящей задачей, Ельцин, упрямо выпятив подбородок, стоял на своем. В своей речи он вспомнил Николая Бухарина и других старых большевиков, расстрелянных в годы террора, а при Горбачеве восстановленных в партии: “Товарищи делегаты! Реабилитация через 50 лет сейчас стала привычной, и это хорошо действует на оздоровление общества. Но я лично прошу политической реабилитации все же при жизни”.

Кроме того, Ельцин обрушился на Лигачева, за то, что тот ставил ему палки в колеса и в целом противился реформам. Лигачев, взяв слово, ответил ему: “Борис, ты не прав!” На телевизионной картинке это выглядело, словно уличный хулиган задирает мощного тяжеловеса. Лигачев был в ярости, он обвинял Ельцина в том, что на заседаниях политбюро тот отмалчивался. Партийная номенклатура в зале шумно одобряла выступление Лигачева, но в глазах большей части населения героем был Ельцин.

Еременко наслаждался этим раскрепощающим представлением. Подобно миллионам сограждан, он с радостью наблюдал, как партия наконец-то начала пожирать сама себя, выставляя напоказ свои язвы и дрызги прямо в телеэфире. Позволив возвести памятник жертвам режима, партия, вопреки собственному намерению, начала эпоху национального покалания.

“По крайней мере, конференция не стала провалом”, – сказал мне Еременко по телефону из аэропорта. Я повторил, что по-прежнему хочу приехать в Магадан. “Так что скоро увидимся”, – заметил я, и мы оба засмеялись. Казалось, что такая возможность представится еще не скоро.

---

<sup>47</sup> 1 января в США традиционно проходят игры университетских команд по американскому футболу.

Победа “Мемориала” на партконференции не могла не радовать, но даже руководство движения понимало, что она далась как-то слишком легко, и это было подозрительно. Статья Михаила Гэфтера в сборнике “Иного не дано” называлась “Сталин умер вчера”. Это название говорило о том, что всё и все в Советском Союзе по-прежнему были заражены сталинизмом. Каждая фабрика и каждый колхоз, каждая школа и каждый детский дом функционировали на сталинистских принципах гигантизма и жесткого контроля. При всяком взаимодействии – в магазинах, автобусах, при простейших коммуникациях – люди относились друг к другу недоброжелательно и с подозрением. Это тоже был сталинизм. И вот теперь люди начали вслух задаваться вопросом о достоинствах такой жизни. Только теперь им позволили открыто высказать свои сомнения – в газетах, в книгах, на телевидении. “Сталинизм сидит в нас глубоко, – сказал мне Афанасьев после партийной конференции. – Избавиться от этого духа сложнее всего. По сравнению с этим добиться от партии согласия поставить памятник жертвам – плевое дело”.

Я познакомился с азербайджанским кинорежиссером Тофиком Шахвердиевым, сделавшим документальный фильм “Сталин с нами”. Он объездил всю страну, снимая интервью со сталинистами. Говорил с донским казаком, с тбилисским таксистом, с бывшим охранником, караулившим Бухарина на судебном процессе. В фильме в одной из сцен несколько ветеранов, сидя за столом, поют песни о Сталине. Видно, с каким чувством они поют.

Я рассказал Тофику о моей одержимости Кагановичем. Он не стал смотреть на меня свысока, а рассмеялся и сказал: “Я тоже пытался. Но он никогда не открывает дверь”. В то время “Московские новости” и другие газеты, используя интервью и опросы, пытались узнать, как общество относится к Сталину. Сама идея изучения общественного мнения была еще в новинку. Но опросы были примитивны, и я подумал, что Тофик вполне может рассказать мне о сталинистах. Кто они такие? Чего они хотят?

“Тех, кто открыто защищает Сталина и по-настоящему им восхищается, не так много, – ответил мне Тофик. – Но если иметь в виду людей, для которых главное – чтобы был порядок, то таких в Советском Союзе наберется добрая половина населения. Мы теперь любим поговорить про «демократию» и «плюрализм». Но мало кто действительно способен жить без того чувства защищенности, которое дают полный порядок и контроль. В каком-то извращенном смысле нынешние диссиденты и неконформисты – это как раз сталинисты. Мы, демократы, стали думать одинаково. Настоящее положение вещей мы игнорируем или высмеиваем. Но рядом с нами продолжают жить сталинисты: они идут против течения и становятся, как это ни странно, диссидентами. И ореол диссидентства сообщает им некое благородство. Они верили в великую цель, в построение великого коммунистического общества. Для них демократия и капитализм – это эксплуатация бедных богатыми, в то время как у нас – бедные все. Для них отсутствие жесткой руки означает проституцию, СПИД, эмиграцию на Запад. Самосознание сталинистов существует благодаря их связи с памятью о великом человеке. Когда раб целует руку господина, который сечет его, он получает частицу власти этого господина. Приобщается к его величию”.

Местом, где присутствие Сталина ощущалось в том числе физически, была Грузия. Как все иностранные московские репортеры, я посетил родину Сталина, Гори. Как будто это могло мне помочь что-то понять. Гори находится от грузинской столицы Тбилиси в часе езды по горной дороге.

Главная достопримечательность Гори была одним из самых замечательных образцов китча. В 1936 году горийские партийные власти, получившие некоторое денежное вспоможествование из Москвы, перенесли родовой дом Сталина – дом из двух комнат – в центр города. Чтобы превратить эту лачугу в “Олимпийский чертог”, партия обрамила ее неоклассическими колоннами. Убранство самих комнат должно было свидетельствовать об истинно ленинской скромности Сталина. В одной комнате стоял простой деревянный стол,

в другой висел портрет Сталина с матерью – женщиной с пронзительным взглядом, с черным покрывалом на голове<sup>48</sup>. Находившийся дверь в дверь огромный Музей Сталина, грандиозностью не уступавший колоннам, был закрыт – как сказал мне охранник, “думают, что с ним делать”.

Посетители, закончившие осмотр сталинского жилища, сидели в парке под деревьями и ели сосиски и яблоки. Никто из тех, с кем я говорил, не имел ничего против Сталина. Люди говорили, что такой человек нужен стране, чтобы положить конец “беспорядку”. Фабричный рабочий, с которым я разговорился, показал мне татуировку у себя на груди: искусный двойной портрет Ленина и Сталина. Я спросил у рабочего, как насчет портрета Горбачева. Может быть рядом?

– Горбачева? – переспросил он. – Да я его имя не наколю и на заднице.

Сталин, чье настоящее имя было Иосиф Виссарионович Джугашвили, родился 21 декабря 1879 года<sup>49</sup>. Отец его был пьяницей, избивавшим жену. Он умер молодым<sup>50</sup>. Любимой книгой Сталина в детстве была повесть Александра Казбеги “Отцеубийца” – она рассказывала о грузинском герое-мстителе по прозвищу Коба. Прочитав эту книгу, Сталин потребовал, чтобы друзья называли его Кобой. “Коба стал его кумиром”, – вспоминал его друг детства. Ближайшие партийные соратники Сталина продолжали называть его Кобой – иногда до самого дня своего расстрела.

Сталин учился в духовной семинарии. Монахи отмечали, что он был груб и дерзок. Его мать мечтала о церковном поприще для сына. Когда в 1936 году он, уже будучи главой государства и планируя Большой террор, навещал мать, та сказала: “Жаль, что ты не стал священником”.

В 1895 году Сталин написал такие стихи:

Но твердо знай: кто был однажды Повергнут в прах и угнетен,  
Еще сравняется с Мтацминдой, Своей надеждой окрылен<sup>51</sup>.

В 1926 году от Сталина ушла жена Надежда. Он умолял ее вернуться, но при этом позаботился о том, чтобы за ней следили агенты ОГПУ. Через шесть лет они поссорились: Надежда обвиняла мужа в жестокости по отношению к украинским крестьянам. После ссоры она вышла из комнаты и застрелилась. Ее дочь Светлана впоследствии писала: “Смерть мамы страшно ударила его, опустошила, унесла у него веру в людей и в друзей. Он всегда считал маму своим ближайшим и верным другом, – смерть ее он расценил как предательство, как удар ему в спину. И он ожесточился”.

Много лет Сталин жил в Кремле один. Его охранник рассказывал, что Сталин лично прослушивал телефоны своих советников, тратя на это по многу часов в день. А офицер госбезопасности и охранник Сталина Алексей Рыбин написал в статье, опубликованной в журнале “Социологические исследования”, что Сталин любил говорить своему водителю, чтобы тот подсаживал по пути пожилых женщин и подвозил их домой, – “такой он был человек”, по словам Рыбина.

“Правда”, следуя гомерической традиции, награждала Сталина магическими именами, называя его Вождем и Учителем всех трудящихся, Отцом народов, Мудрым Вождем совет-

---

<sup>48</sup> Чихти-копи – грузинский национальный головной убор, состоящий из ободка и фаты.

<sup>49</sup> Это официальная дата рождения Сталина, не соответствующая действительности. По современным оценкам, Сталин родился 18 декабря 1878 года.

<sup>50</sup> Отец Сталина Виссарион Джугашвили дожил до 59 лет.

<sup>51</sup> Из стихотворения “Луне”. Цитируется в анонимном переводе по изданию: Сталин И. В. Сочинения. Т. 17. Тверь, 2004. С. 1. Мтацминда – гора в Тбилиси.

ского народа, Величайшим Гением всех времен и народов, Величайшим Полководцем всех времен и народов, Корифеем наук, Верным Соратником Ленина, Преданным Продолжателем Дела Ленина, Горным Орлом, Лучшим Другом Детей.

Многие западные интеллектуалы слишком охотно закрывали глаза на сталинские зверства. Джордж Бернард Шоу, приехавший в СССР в разгар искусственно вызванного голода, подняв глаза от тарелки в гостинице “Метрополь”, весело произнес: “Ну и где вы здесь видите нехватку продовольствия?” Леди Астор, путешествовавшая с Шоу, спросила у Сталина во время их встречи:

– Когда вы перестанете убивать людей?

– Когда в этом отпадет необходимость, – отвечал Сталин.

Леди Астор быстро сменила тему и спросила у Сталина, не мог бы он помочь ей найти русскую няньку для ее детей.

После личной встречи со Сталиным Герберт Уэллс заявил: “Я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного и честного”. Американский посол в Москве Джемс Дэвис писал о Сталине: “Ребенку бы понравилось сидеть у него на коленях, а собаке ласкаться у ног”.

Сталин был ростом в 162 сантиметра, но хотел, чтобы на парадном портрете его изобразили высоким, с мощными руками. Художник Налбандян показал фигуру Сталина с выгодного ракурса; сильные руки сложены на уровне живота. Других своих портретистов Сталин расстреливал, а написанные ими портреты приказывал сжечь. При этом он своей рукой вписал в книгу “Иосиф Сталин. Краткая биография” такие слова: “Сталин... не допускал в своей деятельности и тени самомнения, зазнайства, самолюбования”.

Сталин умер от кровоизлияния в мозг 5 марта 1953 года. Однажды он назвал вегетарианцами революционеров, которые не желали применять террор в качестве политического инструмента. По подсчетам Роя Медведева, число жертв Сталина достигало 40 миллионов. Солженицын называл гораздо большее число: 60 миллионов. Споры продолжаются до сих пор<sup>52</sup>.

Гвоздем сезона стал судебный процесс. С самого прихода к власти Горбачева отставной харьковский адвокат Иван Шеховцов подавал в суд на публичных деятелей и газеты за “клевету на Сталина”. На этих исках, шестнадцати в общей сложности, он сделал себе имя. Последним был иск к газете “Вечерняя Москва”.

#### СТАЛИН – ОТЕЦ НАРОДА

#### КЛЕВЕТА – ГРЯЗНОЕ ОРУДИЕ АНТИСТАЛИНИСТОВ

– Уберите плакаты, – распорядился судья.

Шеховцов сидел за столом для свидетелей и делал пометки в блокноте. К его пиджаку была приколота колодка с орденами – в войну он был наводчиком противотанкового орудия, воевал на Прибалтийском и Украинском фронтах, был ранен, потерял часть легкого. В зале суда все скамьи были заняты сторонниками Шеховцова. В основном это были пожилые мужчины и женщины, почти у всех были орденские колодки и медали. Требование убрать плакаты их раздражило, и они отыгрались, начав громко переговариваться. Отпускались злые замечания о евреях и армянах, о Раисе Горбачевой, о “Мемориале”. В руках у них были пра-

---

<sup>52</sup> Количественные оценки зависят от того, кого считают жертвами сталинизма. По данным общества “Мемориал”, в годы сталинского террора по приговорам судебных и внесудебных органов было расстреляно около полутора миллионов человек. Точно не известно и едва ли может быть установлено число умерших в заключении и на пересылках, но очевидно, что оно было очень велико. Через систему ГУЛага в годы правления Сталина прошло около 4 миллионов человек. Около 7 миллионов человек были депортированы по национальному признаку. Около 7 миллионов человек погибло от массового голода 1932–1933 годов. В число жертв можно включать и родственников репрессированных, которые были поражены в правах.

ворадикальные журналы: националистический “Наш современник” и сталинистская “Молодая гвардия”. Много перешептывались о том, еврейка ли женщина, представлявшая интересы ответчика, “Вечерней Москвы”. Решили, что еврейка. Кто ж еще.

“Мы жизни отдавали, строя социализм, а теперь эти люди – Афанасьев, Адамович, Коротич – пытаются социализм уничтожить, и у них это получается!” – сказала мне в перерыве женщина по имени Валентина Никитина.

Она тоже была ветераном войны, имела ордена и медали. По ее словам, в войну она потеряла много друзей и родных – “половину всех, кого знала”. Она не допускала и мысли о реформировании, а тем более демонтаже системы. “Эти люди – как венгры в 1956-м. Они затевают контрреволюцию. Большинство наших граждан поддерживают Сталина, строителя социализма. Почти все кулаки были евреи. Энкавэдэшники на Беломорканале были евреи! Начальник там был еврей! И главный инженер тоже еврей! Если бы евреи все переехали в автономную область, им бы там прекрасно жилось!”

Я поблагодарил ее за высказанные соображения и обернулся к Шеховцову. У того был надменный и скучающий вид. Он барабанил пальцами по столу, демонстрируя трем судьям свое превосходство. Адвоката у Шеховцова не было. Он сам был своим защитником.

Наконец женщина из “Вечерней Москвы”, сидевшая в паре метров от Шеховцова, встала и сообщила судьям, что ее адвокат не сможет явиться на заседание. Нельзя ли перенести слушание?

– Он в отпуске, – неуверенно добавила она.

Шеховцов закатил глаза. Среди его сторонников раздались смешки и шиканье. Судья назначил дату нового слушания.

– Ну и чушь! – пробормотал мой сосед. Мы все встали с мест. Женщина из “Вечерней Москвы” быстрым шагом, опустив голову, шла к выходу сквозь толпящихся в зале активистов.

– Клеветница! – шипели ей вслед. – Позор!

На парковке сторонники Шеховцова, развернув плакаты, праздновали победу. Я подошел к Шеховцову и представился.

“Вероятно, вы хотите взять у меня интервью, – сказал он. – Что ж, я не откажусь, если вы подбросите меня до вокзала. И, если вы не возражаете, я бы хотел перекусить”.

Я спросил Шеховцова, зачем ему все это нужно. Зачем он тратит все свои деньги и силы на суды, которые всегда проигрывает? Он посмотрел на меня без тени возмущения, скорее с сочувствием. Я, в конце концов, был иностранец – что с меня взять.

“Я восстанавливаю историческую правду, – начал он. – Я не знал ни одного репрессированного. Сейчас в газетах пишут, что у каждой семьи был хотя бы один знакомый, которого подвергли репрессиям. Я лично обошел сто пятьдесят семей в Харькове, и никто мне не сказал, что ждал стука в дверь. Те цифры, которые вы сейчас слышите, – чистая ложь. В 1929 году, во время коллективизации, моего деда выселили и отправили в ссылку. Но с нами делились одеждой и едой, и через шесть месяцев мы вернулись к себе. Во время этой ссылки мой брат умер от воспаления легких, но моя мать никогда не винила в этом Сталина. Виноваты были местные власти! Моей матери 86 лет, и она понимает это своим женским чутьем!

С точки зрения практической деятельности Сталин сделал даже больше Ленина. Но это, конечно, оттого, что он дольше прожил. Я постоянно получаю письма от людей, которые тоскуют по жизни при Сталине. Они знали радость труда, любили Родину, жили с высоко поднятой головой, пели патриотические песни. А теперь никто не поет. И дело не в том, что у нас нет песен. Нет веры! Люди забывают, и им нужно напоминать. В 30-е я был пионером, потом комсомольцем. В стране был небывалый подъем патриотизма. Люди были готовы жертвовать личным ради всеобщего блага. Люди думали о великих целях, о прекрасном будущем, поэтому терпели. Сталин с нами, Сталин нас поддержит. Вот мировоззрение моего

поколения! Мы шли в бой с его именем на устах. Он принял Россию с деревянной сохой, а оставил с атомной бомбой. Такого человека нельзя очернять. Молодые должны знать свою историю”.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.